

Анна
ГАЙКАЛОВА

СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

МОРЕ

ПАВЛА И МАШИ П.



Анна Гайкалова

**Семьдесят шестое
море Павла и Маши П.**

«Издательские решения»

Гайкалова А.

Семьдесят шестое море Павла и Маши П. / А. Гайкалова —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831629-6

Психолог Павел Прелапов с трудом принимает решения, во всем сомневается и ищет компромисс между своими принципами и требованиями текущего дня. Неся груз испытаний, Павел старается не задавать вопроса «за что». Но старания его тщетны. Способности Маши, жены Павла, очень странны. И Павел спрашивает себя: что такое этот мир? Возможно ли совместить светскую жизнь и духовность, карьеру и следование заповедям? Павлу помогает найти ответы отец его жены — священник Владимир Бережков.

ISBN 978-5-44-831629-6

© Гайкалова А.
© Издательские решения

Содержание

Глава первая.	8
Глава вторая.	27
Глава третья.	35
Глава четвертая.	46
Глава пятая.	58
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Семьдесят шестое море Павла и Маши П.

Анна Гайкалова

© Анна Гайкалова, 2020

ISBN 978-5-4483-1629-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Этот роман можно прочесть очень по-разному
Один прочтет историю жизни священника отца Владимира, прекратившего свое служение.
Другой – историю странного и счастливого (до болезни жены) брака Павла и Маши.

Третий – полный мистики роман о жизни Маши, настоящей блаженной, в современном мире.

Четвертый – историю любви длиной в целую жизнь, но закончившейся соединением любящих только в старости, после страшного жизненного краха.

Как всегда у Анны Гайкаловой, чтение это увлекательное, дающее ответы на многие вопросы, с которыми все мы, кто задает вопросы, в жизни сталкиваемся, а поговорить о них, чаще всего, не с кем.

Книга глубоко западает в душу и совершенно не забывается, всплывая потом в самых разных ситуациях, казалось бы, никак с нею не связанных.

Мне очень интересно читать все, что пишет Анна Гайкалова и хочется знакомить с ее книгами всех понимающих людей.

Надежда Давыдова

За моральную поддержку, помощь в работе над текстом, а также за тематические разъяснения благодарю:

Сергея Касабьяна

Лею Халанай

Степана Томляновича

Елену Томлянович

Людмилу Фролову

Екатерину Кузнецову

Рену Афанасьеву

Раису Струмба

Маргошу Нейман

Елену Максимову

Глава первая.

Знакомство с героями, или

О чем человек может думать по утрам

Улица, на которой жили Прелаповы, самая обыкновенная московская, из новых. Конечно, все относительно, но Профсоюзная – не центр, и любоваться тут особенно нечем. Хорошо хоть во дворах не так, там уют и зелень, даже изредка встречаются небольшие холмы газонов с искусственной насыпью. Стоит немного углубиться за дома, и можно забыть, что совсем рядом поднимается в горку вечно набитая машинами ворчливая районная магистраль. В общем же, здесь все очень пристойно, и в другие сезоны округа смотрелась бы даже живописно.

Но сейчас, ранним утром темного, раскисшего ноября ни единого намека на красоту Павлу нигде усмотреть не удавалось.

В это время года многослойные спрессованные тучи ползли над городом, заглатывали крыши и срыгивали их обратно рваными клочьями. Даже днем в положенное для света время все вокруг выглядело сизо-серым и безнадежным. Зимы теперь вымирали, снег баловал Москву разве что в февралях, и этот год все тянул и тянул нудную плюсовую сырость. Осень раздевалась медленно, листья кукожились, но держались на ветках и смотрелись неряшливо.

Если бы не собака, Павел так и нырнул бы из машины в подъезд и обратно, он вообще не стал бы гулять до снега, настолько отторгающим казался город.

Но выбора не было.

С некоторых пор каждое утро, а иногда и по вечерам, ему приходилось надевать на пса ошейник, пристегивать поводок и тащиться в эту влажную взвесь под небом низким, как потолок хрущевки. В такую серую и безнадежную погоду, когда во дворах асфальт скрывался под густыми тягучими лужами, Павел прохаживался с собакой неподалеку от улицы, чтобы не видеть развезенной вдоль домов вязкой земли, сползающей с газонов. От этого зрелища сейчас ему хотелось одного: немедленно полностью переодеться.

На прогулке Страхо вел себя прилично, шел спокойно по расквашенной земле в полуметре от грязного тротуара и как всегда головы к Павлу не поворачивал, словно поводка вовсе не существовало, и рядом эти двое оказались по чистой случайности. Похоже, они оба так и не смогли примириться с переменой в их судьбах: прежняя жизнь кончилась, а то новое, что наступило, не устраивало никого.

В этих ежедневных прогулках существовал один особенно неприятный для Павла момент. Для того чтобы справить большую нужду, пес всегда выбирал самое видное место из обозримых, располагался, будто специально выставляя себя напоказ. Вот и теперь он потянул Павла через грязь, вскарабкался на лысый взгорок поближе к асфальту, растопырился и застыл в той самой нелепой позе, в которой даже крупные животные выглядят беззащитными.

Павел отвел глаза и уставился в неопределенную даль, привычно изображая свою непричастность и к этой собаке, и к тому, на чем она сосредоточилась.

Раньше Страхо гулял только с женой Павла Машей, своей любимицей и единственной хозяйкой. Но это осталось в прошлом, когда беда еще дома Прелаповых не коснулась. Теперь для выгула домашнего чудовища, а некрасив был Страхо чрезвычайно, предназначались двое – сам Павел и его мать Нина Дмитриевна, которой пес хоть как-то симпатизировал, а Павла вынужденно терпел и вел себя с ним высокомерно. Павел считал собаку неблагодарной и тоже не любил ее в ответ. Друг с другом они практически не общались.

Страхо расселся. Чувствуя опостылевшее неудобство, Павел заметил, как открылась дверь крайнего подъезда и оттуда выскочила сгорбленная старуха в сине-лиловом, нереально

совмещающая ветхость и подвижность. Старуха сразу взяла в галоп. Павел давно приметил, как ее выносило на автобусную остановку ровно в семь тридцать утра. Она частенько неодобрительно поглядывала на крупную собаку и ее спутника, даже притормаживала, но зацепиться ни за что не удавалось.

– Позагадили все дворы! – неожиданно звонким голосом изрекла старуха, и Павел застыл в предвкушении продолжения. Он и сам глубоко презирал собачьи кучи на земле, хозяев, которые это допускали, страну, где такое считалось нормой, и заодно и самого себя за то, что убрать за своим псом ему было слабо.

Его мать однажды попробовала повести себя как в цивилизованных странах, но ей пришлось с позором отказаться от этой затеи.

Неделю она собирала в целлофановые пакеты объемные отходы Страхо и, аккуратно завязав узел, опускала их в урну на автобусной остановке – не тащить же домой, раз других помоек поблизости не было. На следующий день она находила вынутые пакеты на траве прямо рядом с урной.

Поначалу Нина Дмитриевна недоумевала, поднимала пакеты и снова отправляла их в урну, в которой, кроме пустых пачек от сигарет и пивных банок, больше ничего не наблюдалось. Но назавтра все повторялось. Когда лежащих на земле пакетов набралось семь, Нина Дмитриевна сдалась. Она оставила свои попытки и даже сменила маршрут прогулок с собакой. Ей не хотелось встретить того злокозненного дворника, который сортировал мусор и педантично выкладывал на землю плоды ее гражданской сознательности, а в том, что это был именно дворник, Нина Дмитриевна Прелапова не сомневалась.

Она чувствовала себя глубоко посрамленной и даже приболела немного: «Нет, Паша, я просто потрясена! Неужели же у нас теперь никакие благие перемены невозможны?»

Лиловая тень затормозила напротив собаки и высказалась, Павел остался стоять на пару метров ниже по склону. Страхо принял надменный вид, затем неторопливо распрямился, отчего его зад вознесся на икс-образных ногах выше головы, повернулся к старухе и издал звук, для повторения которого человеку пришлось бы выписать сочным басом полукруглое «ра-а?» и позвучать еще немного, завершая этот маневр, лениво сцепив оскаленные зубы.

Получилось убедительно.

Старуха уставилась на собаку так, словно ее призвал к порядку как минимум человек в погонах, затем отступила на два мелких шага, прокашлялась, пробормотала вяло: «Да действительно, мало ли что...», перекрестилась, как будто согнала с носа муху, и без прежней прыти проследовала к автобусной остановке, где села на лавку, скрутилась улиткой и сделалась незаметной на фоне серо-лилового утра.

Страхо проводил ее взглядом, величественно кивнул и вальяжно направился в сторону дома. Поводок натянулся. Раскачиваясь между желанием пнуть собаку под хвост и переменить свою нетерпимость на более зрелое отношение к жизни, Павел побрел следом в непролазную глубь двора.

Он вошел в квартиру и тут же понял: провести утро в покое не удастся. Распахнутая в комнату матери дверь говорила о том, что жена уже встала и заглядывала к свекрови, чтобы убедиться: ее не оставили одну. На кухне позвякивала посуда.

Павел разделся, куртку для прогулок с собакой повесил на дальний крюк прихожей, дверь в комнату закрыл, пусть мать поспит, намочил тряпку и вернулся к собаке. По размерам пес был меньше дога, но крупнее других больших собак. В молодости темно-серый, сейчас он излинял и сделался землистым. Шерсть на его широком мосластом теле росла клочьями, передние лапы, в отличие от икс-образных задних, кривились наружу словно под тяжестью и были покрыты черными крапинами, которые тоже от возраста поблекли и казались пятнами грязи. Короткоухий, лобастый, с отвисшими брылями, он даже в щенячьем возрасте отличался урод-

ливостью, за что тесть с первого взгляда окрестил его Страхом Господним, едва только Маша притащила домой свою блохастую драгоценность.

Это было очень давно, лет пятнадцать назад, а то и больше. Все крупные ровесники Страхго поиздыхали, возмужало новое племя, а он все жил и, кроме как сединой, ничем своего возраста не выдавал.

Маша с первого дня любила этого пса как ненормальная, а теперь, когда она так изменилась, и вовсе утверждала, что Страхго – существо особого рода. Она говорила, что жизнь его течет по другим, не совсем собачьим законам, и что никто, кроме нее, этого не видит, потому что люди вообще ничего не видят в жизни, кроме своих же отражений. Так она на разные лады повторяла, касаясь то одной, то другой грани этой немыслимой собаки, все о которой, конечно же, придумала сама, а потом со вздохом добавляла неизменное: «Поверь мне, Пашенька».

Как и большинство молодежи его возраста, Павел в юности увлекался придуманными мирами и нереальными персонажами. Это было модно, читанная вдоль и поперек «Библиотека современной фантастики» издательства «Молодая гвардия» до сих пор хранилась дома на книжных полках и выносу из квартиры не подлежала. Но это пусть научные, однако, сказки.

От тщетности попыток найти хоть какие-то здравые объяснения происходящему с его женой, Павел зверел. Все казалось притянутым за уши, все выглядело насмешкой. Маша говорила об общеизвестном так, словно открывала Америку, несла банальщину с глубокомысленным видом, Павла теперь ничто не удовлетворяло. И еще по одной нелепой, но не менее весомой причине, спокойным ему оставаться не удавалось.

Он ненавидел свое имя в любом уменьшении. Назови его кто угодно «Пашенька» или вот еще хуже «Павлик», это действовало на него как красная тряпка на быка, как барабанная дробь, под которую он всякий раз ощущал одну и ту же необходимость немедленно маршировать пешком под стол. А так, как это было прежде, и как Павел любил, когда считал себя самым счастливым в мире обладателем самой изумительной женщины на свете, Маша к нему больше не обращалась.

Он вытер собачьи лапы, и Страхго тут же отправился к хозяйке, совершил вокруг нее круг почета, протерся боком о Машины ноги и рухнул на свой коврик рядом с угловым диваном.

– А где вы были? – рассеяно улыбнулась жена, включила телевизор, метнулась через кухню и полезла в холодильник, зашуршала пакетами.

Дурное настроение сформировалось окончательно. Павел ненавидел всяческую суету, а утреннюю особенно. Если ему случалось проспать, он заранее считал наступающий день испорченным. Приходилось собираться быстро, тащить волоком на улицу не склонную к поспешности собаку, есть на бегу или не есть совсем. Это вышибало из колеи, и дело тут было не в изнеженности и не в язве желудка.

Павел вообще на здоровье не жаловался и вполне сносно терпел любое воздержание, но при обязательном условии: если оно планировалось заранее. Когда же вдруг на голову падала необходимость одеться не глядя, насухо побриться электробритвой и забросить в рот кусок безразлично чего, он ощущал себя обворованным.

Теперь в течение дня он был обречен сомневаться, действительно ли в порядке его гардероб; бесчисленное количество раз проводить рукой по лицу в поисках «мхов и лишайников» – так в прежние времена называла Маша непробритости мужа, которые неизбежно оставались у него на щеках, если он тщательно не поработал помазком. В таком состоянии Павел постоянно дергался и самого себя адекватно не воспринимал.

Что касается завтрака, то в таких обстоятельствах любая еда теряла смысл, поспешное заглатывание пищи он считал занятием вульгарным и воспринимал исключительно как проявление бескультурия. В торопливых утрах он считал отвратительным все.

К счастью, подобное, как и ранние вставания жены, случалось редко. Как правило, Павел просыпался раньше будильника, который, как и себя самого, заводил с запасом минут в пятнадцать. В среднем выходило около получаса свободного времени, и это было как раз то, что могло его хоть как-то устроить.

Но сегодня день уже шел по другому сценарию. Маша проснулась, и это означало «минус уединение». Она включила телевизор, из чего следовал «минус покой», в сумме это давало беспросветно погубленное утро. Тем не менее, сохраняя внешнее спокойствие, Павел обстоятельно позавтракал. Теперь он пил кофе и еще минут пятнадцать, пусть и без удовольствия, мог никуда не спешить.

В другие дни эти минуты одиночества и тишины поддерживали в нем миражную надежду, что именно он хозяин своей судьбы. Или хотя бы какой-то ее части.

Верить в это Павлу казалось необходимым.

Маша не умела нежиться в постели. Едва открывала глаза, поднималась и теперь находила себе занятия, порой довольно неожиданные. Например, могла с семи утра завести генеральную уборку, когда без предупреждения и подготовки требовалось отодвинуть мебель от стен, что Павел с чистой совестью приравнивал к вселенскому потоку.

– Двери с петель снимать не будешь? – спросил он не так давно, забыв, что на шутки жена теперь не отвечает, да и на реплики реагирует не всегда.

– Давай! – радостно воскликнула она, отчего в груди у него екнуло, и он сам себе показался мерзавцем. – Как ты догадался, Пашенька, что их надо смазать?

В другие дни, едва открыв глаза, Маша решала немедленно пересадить цветы, к чему в который раз и приступала, невзирая на сезон.

– Ты пересаживала их две недели назад, – не сдержался он как-то.

– Ты специально путаешь меня, Паша, зачем это тебе? – не отрываясь от копания в земле, укоризненно вздохнула Маша, и его снова посетило паршивое самоощущение: виноват! А Маша продолжала. – Я же точно знаю, что хотела это сделать еще в прошлом году, но все руки не доходили, а ты шутишь надо мной. Я и так живу грустно, может даже я почти вымерла, как злосчастная пещерная рукокрылая мышка бесхвостая и свиноносая. Тебе бы меня поддерживать, а ты что?

Маша умела так сокрушаться, что хотелось тут же броситься ее утешать – редкий, по мнению Павла, дар. «Мой язык – простыня на морозном ветру», – качала она головой, туманясь взглядом, и сразу же представлялась белоснежная хрусткая ткань в мареве ледяной отдушки. Воплощение чистоты, надежность истоков. Туда влекло прильнуть, вдохнуть запах, коснуться руками, не открывая глаз.

Когда Маша так говорила, планы Павла мешались.

«Овца я мериносая!», – покаянно провозглашала она, и сразу становилось ясно, что очес этой овцы особенно дорог. «Нет, это не голова, а кусок карельской березы!», – горестно жаловалась она на свою память, и Павел ловился, склонялся рассмотреть причудливый узор «древесины» из следующих слов, которые вполне могли не прозвучать.

Он пытался себя контролировать, останавливать реакции, но не удавалось, ум не успевал за порывами сердца, и Павел разбивался снова и снова, осознавая ускользающий мираж прошлого, в котором он был так немыслимо счастлив. Он и впрямь готов был поддерживать жену во всем, что бы она ни придумала в их прежние дни.

Сегодня Маше показалось необходимым почистить селедку. Перенести это было все же проще, чем раннее снятие мебели с насиженных мест, когда Павлу казалось, что его выселяют, причем, не только из квартиры, а и вовсе из жизни.

Телевизор раздражал. Второй раз за утро Павел почистил зубы и переоделся к выходу на работу. Только что он уловил обрывки сообщения об очередных сиамских близнецах, срос-

шихся головами, их готовили к операции. Предстояло разделение мозга, хирурги должны были быть ювелирами, чтобы дети остались живы. И как минимум богами, чтобы их умственное развитие пошло потом без неприятных сюрпризов, – не сомневался Павел.

С чашкой кофе в руках он подошел к окну и, вглядываясь в полумрак, в который раз за последний год подумал о том, что отсутствие детей не самая страшная кара из тех, что у Господа Бога в ассортименте.

– По данным Госкомстата среднедушевые доходы россиян в октябре две тысячи третьего года составили пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей десять копеек, что на девять и четыре десятых процента превысило показатель сентября, – бесцветным голосом изрекла диктор. На экране телевизора замелькало нечто, не особенно внятное в отражении оконного стекла.

«Среднедушевые доходы» как крючком зацепили и вытащили из памяти нелепый эпизод.

Нарисовалась картинка пионерского лагеря, огромное напаренное помещение бани, тощие голозадые мальчишки под строгими взглядами старших: пионервожатого и физрука. Старшие были одеты в плавки и перемещались по мокрому скользкому полу в шлепанцах. Эти шлепанцы и особенно плавки не только подчеркивали разницу между взрослыми и детьми, они делали одних надзирателями, а других как раз «среднедушевыми», «средненикакими», словно лишенными и воли, и пространства.

В такой бане однажды Павел впервые ощутил подобие клаустрофобии. Покинуть это непрозрачное липкое помещение, не предъявив свое тело, не разрешалось. Мальчишки подходили, старшие их проверяли, – ноги, уши, волосы, подмышки, даже зад, – некоторых отправляли на «перемыв», кому-то разрешали вытираться, а он никак не мог заставить себя подчиниться и позволить, чтобы его осмотрели. Процедура казалась унижительной, было не ясно, почему другие ребята покорны и не возражают.

Воспоминание оставило кислый привкус, утро продолжало нагнетать дурные мысли. Павел стоял у окна и смотрел на улицу.

Поднялся ветер и теперь то и дело бросался на две старые липы напротив, скручивал их ветвями. На фоне пасмурного неба деревья выглядели неприятно. Всякий раз в беспокойную погоду чувствовалось одно и то же, стоило хотя бы на минуту прикоснуться взглядом к этим липам у окна. Фатально-неподвижные в тяжести стволов, кронами они пребывали в беспорядочной и назойливой суете.

Казалось, именно так устроена человеческая жизнь: ни секунды отдыха и ни шанса на перемену.

Вспомнилось, как однажды, в далекой Павловой молодости, когда он еще изредка заходил в храм, на проповеди Владимир Иванович, тесть Павла, преобразавшийся на амвоне подобно артисту на сцене, воскликнул: «Все мы в определенные минуты жизни спрашиваем – за что? Кто из нас хотя бы однажды не задавал этого вопроса? За что?! Да ни за что! Ни! За! Что!»... Эти слова потрясли. «Ни за что!» Практически то же самое, что и «неисповедимы пути», только более конкретно.

Более агрессивно и приближенно к жизни.

Хаос. Высший порядок. Стоит всмотреться пристальнее, и как знать, не это ли мгновение станет началом рождения божества. Павел говорил себе, что детерминированность можно отправить к черту и даже еще дальше. Потому что рассуждать о причинно-следственных связях вышло из моды. Только кто бы пришел и дал наконец хоть какую-то интерпретацию поведения системы, именуемой «моя собственная семья», той именно системы, в которую эта семья превратилась.

В самом деле, все движется, не так ли? Как эти ветви за окном. Динамика ветвей привязана к стволам. Любое движение младших Прелаповых и их родителей привязано теперь к этой

девочке, и вот она – статика, потому как, что бы Маша ни сказала, что бы ни сделала, ничего хорошего в жизни семьи уже не произойдет.

– Ad finem saeculorum, – шепотом произнес Павел, что означало «до скончания века». Он завершил привычные раздумья беззвучным перифразом другого известного выражения. «Все течет и ничего не меняется». Такой стала формула его жизни, и каждый текущий день без усилия вписывался теперь в схему, очень похожую на ту, что была вчера. Однако никаких статических данных, – одернул он себя. – Теория хаоса их не предполагает.

За спиной грохнуло, в окне отразилась жена с табуреткой в руках. На эту табуретку дважды в день водружался таз с собачьей едой. Маша утверждала, что с пола Страхо есть не должен, это вредно для его позвоночника. Павел уже давно не выходил из себя из-за подобных мелочей, хотя порой расковыривал себе душу мыслями, что начини он сам есть с пола, жена не обратит на это никакого внимания.

Маша поставила таз с едой на табуретку, придвинула ее к стене, сказала: «Иди, милый», присела на корточки перед подошедшей собакой и посмотрела ей в глаза. Оба застыли.

Взглядом Павел прошел насквозь отражение жены в оконном стекле.

Это было невыносимо – видеть, как женщина и собака общались, как могли по несколько минут неотрывно смотреть в глаза друг другу. Невыносимо, потому что после таких «гляделок» Маша изрекала дикие вещи, с которыми приходилось считаться. Это взрывало любые попытки построить что-то стабильное, смириться с обстоятельствами и их принять, потому что никакие объяснения не удовлетворяли. А как можно смириться с необъяснимым? Кроме того, оказалось, что со многими умозаключениями согласиться практически невозможно, если они касаются твоих близких или лично тебя.

Это напоминало цепную реакцию. Каждый новый довод, чем более разумным он казался, тем скорее рождал вопросы следующего уровня, и эти вопросы рассыпались в пространстве поля неизведанного, на фоне которого Павел чувствовал себя пылинкой.

Его приводило в ощущение собственной ничтожности все, чего он не умел обосновать. Единственным утешением, которое срабатывало, был батя и его вера в Бога, о которой касательно себя Павел точно не знал, истинна ли она. Может, он ее придумал для собственного комфорта? Так или иначе, но с верой жизнь принималась легче.

Когда-то, пару раз испытав зависть к тем, кто сомнений не ведал, Павел выбрал для себя верить и, честно стараясь от своего выбора не отступать, ждал, когда количество перейдет в качество, поддерживая при этом безопасную дистанцию и уважительный, как ему казалось, суверенитет. Теперь он в который раз поздравил себя с тем, что дождался. До него донеслось: «Спасибо, что предупредил, кушай, мой хороший!», он передернулся и подумал: «Сейчас начнется».

Собака завозила тазом по табуретке, Маша застучала ножом по столу, зашуршала полиэтиленом, добавила: «Воду забыла включить, все краны будут в селедке» и тут же исчезла из поля зрения. Павел услышал шаги за спиной и звук воды из крана. Только что жена виднелась на фоне снующих веток, теперь кроме их пляски в окне ничего не осталось.

Но вот Маша заговорила, – легко, доверительно, как будто они давно и с удовольствием беседовали, делая друг с другом последними новостями.

– А матушка скоро улетает на страшные принудительные работы, почти на рудники, почти на лесоповал, почти на галеры. Потому что летит она с подругой, а подруга с внуками. Причем младший у нее хоть и холерик, но вменяемый, а старший может быть вообще ни в какие рамки не помещабельным. Поэтому матушка в скорбях, но бодрится: решила сделать доброе дело, значит, должна она полезать в кузов. Надо было тебе воду включить, не пришлось бы мне возиться с кранами, все-таки селедку чистить, это всегда заляписто. Но чего ради вас не сделаешь! Из-под ногтей не выберу, и буду я теперь на весь день завонялая.

«Ради вас». Никто об этой селедке, тем более утром, никого не просил. Маша снова отразилась в оконном стекле, и Павлу почудилось вдруг, что он видит эту женщину впервые и знакомиться с ней не намерен. Запершило горло.

Такие моменты обреченности, даже завершенности жизни последнее время зачастили. В те минуты, когда не хотелось больше видеть жены, Павел сам себе казался отреченцем, предателем, это отбрасывало его от себя, обесточивало и тупило. Он старался не поддаваться, вот и теперь напрягся, резко переключился: подумал, что бы сказал Владимир Иванович, услышь тот эти мысли. Порылся в памяти и нашел подходящий ответ.

«Исповедуйся в слабости без сокрушения. Что, если ты призван не истребить свою слабость, а всего лишь познать ее, чтобы не возноситься над другими?»

Год тому назад жизнь Павла резко и неожиданно изменилась. Маша, его смешливая неутомимая жена, имеющая до этого только одну видимую печаль, да и то телесную, – по женской линии, попала в больницу с диагнозом «аневризма головного мозга». К счастью, – хотя, о каком счастье тут можно говорить, – вспоминая, каждый раз хмурился и вздыхал Павел, – он оказался дома, когда она внезапно потеряла сознание.

«Вроде, в тот день у нее болела голова, – напряженно вспоминал он позже, – но кто сейчас в нашей жизни обращает внимание на такие мелочи? Болит и болит. Пройдет». Еще утром Маша выглядела бледной, но ни на что не жаловалась. Он звонил ей днем, она гуляла с собакой и тоже ничего необычного не сказала. Все случилось вечером, едва он вернулся домой.

Она как раз сидела на диване, поэтому не упала, когда внезапно, беспомощно пискнув, потеряла сознание и завалилась на бок. Страхго монотонно завывл, лежа у дивана, и один только звук его воя мог свести с ума кого угодно, даже если больше ничего ужасного не происходило.

Павел бросился звонить в «Скорую помощь» и матери. Нина Дмитриевна сообщила Владимиру Ивановичу, тот кому-то что-то сказал, начались звонки, суета, но «Скорая» отвезла Машу в районную больницу, а уже оттуда, с предварительным диагнозом нарушения мозгового кровообращения ее переправили в институт Бурденко, к известному профессору нейрохирургу, с которым договорились по цепочке знакомых Владимира Ивановича, и отследить потом эту цепочку так и не удалось.

После операции кома длилась неделю.

Павел не мог отделаться от чувства, что с исходом все ясно. От собственных мыслей ему было грузно и отвратительно, он сдавался и не находил себе места. Ему казалось, что не только жизнь жены висит на волоске, но и его собственная, как, впрочем, и жизни близких, вот-вот перейдут в сплошную линию медицинского компьютерного монитора, и серый матовый скотч несуществования намертво залепит не только рты, но и лица всех участников этой драмы. Впереди вздувалось и ширилось зловещее ничто, в котором, как в преисподней, должны были навсегда кануть и Маша, и все, кто ее любил, потому что жизнь захотела избавиться от них, как... Как от воды в раковине самолета. Нажатие на клапан, эвакуация и пыль, невидимая пыль в ледяной атмосфере земли.

Павел наполнялся мрачными фантазиями и терял над собой контроль, рассматривая картинки, которые то и дело подкидывало воображение.

Вдруг вместо безвестных частиц, в которые он вслед за своим отчаянием увлекал чуть ли не все человечество, ему представлялась Маша в гробу, даже сон приснился однажды, что она лежит там в спортивном костюме, держит в руках собачий поводок и смотрит на мужа со скорбной укоризной. Так наверно смотрела, едва умерев, несчастная княгинюшка Болконская, – думал Павел, и во сне оставаясь достойным сыном своей матери – учительницы русского языка и литературы. Сон длился, спящий в нем отвлекался от Маши на осуждение князя Андрея, который, вместо того, чтобы любить, ждал от женщин чего-то немыслимого, а когда снова о Маше вспоминал, перед глазами опять возникал гроб и собачий поводок в руках умер-

шей жены. Правда, глаза у Маши оставались вполне живыми, но, несмотря на этот факт, Павла не оставляло ощущение вещности сна и мысленно он готовился к худшему, за которым для себя утешения не находил.

Вопреки похоронному настроению мужа, у Маши начался процесс возвращения, – медленный, опасливый, будто нереальный. Когда она впервые пришла в себя и увидела близких, взгляд ее исполнился такой теплоты и нежности, что Павел и сам воскрес. Но ненадолго.

Сейчас жена продолжала говорить так артистично, словно кто-то невидимый стоял напротив, смотрел ей в глаза и неотрывно слушал, уже раскрыв ладони для аплодисментов.

– Почему так тяжело открывается холодная вода? Потому что я вся скользкая и неискучная. А когда матушка вернется домой, то будет валяться как в обмороке и изо всех сил оберегать свой суверенитет. Чтобы ее никто не кантовал, никто за советом не обращался, мнений не высказывал, «что будет, если» не выпрашивал, «скажи ему» не взывал, «это не дети!» не восклицал, и вообще, она будет в экономном режиме восстанавливать изъеденную за прошедшие дни нервную систему. Естественно, что ее близким в связи с такой картиной не к кому будет в минуту слабости голову преклонить. Нам точно известны эти тусклые последствия, но она все равно поедет, потому что матушка в этом вся, и чего ни сделает, только бы себе на вред. А вся эта афера почему-то называется отпуском!

Ветви деревьев будто тянулись за кем-то убегающим и грозили ему вслед. Кран действительно прокручивался, давно пора сменить прокладку, но не доходили руки. Эти «нам известно» Павел ненавидел.

Несколько дней после того, как пришла в сознание, Маша молчала. Близких узнавала, смотрела с благодарностью, но только и всего. Больше порадоваться было нечему. Профессор подбадривал родных, однако было видно, что и он встревожен. Мать то замыкалась, то квохтала, полуживой Владимир Иванович беспрестанно молился.

В один из вечеров Павел сидел рядом со спящей женой, с тоской вглядывался в ее осунувшееся лицо, когда она открыла глаза, медленно похлопала пересохшими губами: «пэ-пэ-пэ» и, посмотрев сквозь реальность, еле слышно произнесла:

– Штормовое предупреждение... Дерево упало на гараж, сломало заднюю стенку и пробило крышу. – Маша будто случайно коснулась руки похолодевшего Павла, улыбнулась слегка и снова уснула, а ее муж впал в депрессивную тревожность. Жена не лишилась речи, теперь это стало ясно, но Павел холодел от мысли о том, что может их ждать.

...Ему должно было исполниться двадцать семь, а Маше двадцать, когда он решился наконец сделать ей предложение. Не спал две ночи, строил фразы, представлял, как отреагирует она. Несмотря на то, что знал точно, ни с кем она не встречается, ни в чем уверен не был. Наконец позвонил, пришел. Она открыла дверь, в зубах сухарик. Увидела его, сухарик выдернула, догрызла откушенный кусок:

– Привет, Паш-Паш! Страхго, смотри, какой у нас гость! – серые в крапинку глаза под нахмуренными короткими бровями, прозрачные кудряшки надо лбом, маленькие уши без мочек, над одним ухом оттопыренный в сторону русский хвост. – Ты все не шел и не шел! Столько дней. Почему? – чмокнула его звонко, потерлась об щеку носом и отстранилась – не помедила, но и не поспешила.

Павел руки не протянул, обнять не решился, только сердце ухнуло. Через гулкий коридор прошел в комнату, потоптался так, словно видит тут все впервые, вынул из-за спины и положил на стол букет из трех лохматых гладиолусов. Сел на диван. Протянул было руку, чтобы погладить пса, но тот отстранился, медленно поднялся и отошел к окну, лег под громоздкой батареей.

– Ой, цветы! – Маша взяла букет, отодвинула его от себя на вытянутых руках ножками наружу, цветками к лицу. – А ты знаешь, как они еще называются, гладиолусы? Шпажники, да! Потому что похожи на шпаги! И «gladus» по латыни как раз шпага! – она неожиданно застеснялась: – Хотя ты это все знаешь, конечно... Я – представляешь? – про них сегодня случайно читала, – Маша засмеялась и закружила по комнате, слегка приподняв цветы над собой. Голые ноги, закатанные рукава мужской рубахи, полукружьем надутой на попе... Павел на минуту отвел глаза. – Правда я почти ничего не помню своими мозгами отошальными, ну и ладно. Зато там написано было, что гладиолусы не пахнут. А это неправда, нет! Цветов без запаха не бывает, точно! И эти тоже пахнут, теплым таким, цыплячьим, только что раскаленным, а теперь остывающим. Глупые, кто их не любят, потому что желтые цветы всегда хорошие, даже самые замечательные!

Rara avis¹, это же ясно! Павел любил латынь. Белой вороной он называл Машу еще с ее детства, но ничего не ведал о шпажниках, латинском названии гладиолусов. А Маша пританцовывала, перекатывалась с пяток на носки, приподнималась на цыпочки и казалась прозрачной.

– Посмотри, Паш-Паш! Видишь, какие у них юбочки? Нижние и правда платица, они подходят для солнечной королевишны! А верхние – поменьше, коронки, то есть короны. – Маша неудобно зажала букет подмышкой, залезла на диван и, в самом деле обдав Павла запахом чего-то трогательного, птенцового, потянулась к вазе на шкафу. – Я сейчас воды наберу, цветочки поставлю и уговорю их подольше побыть, а ты тоже сегодня побудешь, Паш-Паш? Побудешь? Я Гоне скажу, пусть он с тобой в кухне посидит, а я тогда еще подучу. Ты посиди, хорошо?

Внезапно Павел перестал слышать Машу. Она спрыгнула с дивана, нашарила тапки и, с вазой в правой руке и букетом, который придерживала подбородком, в левой, пошлепала в кухню. Квартира с некоторых пор пустовала, через распахнутую дверь Павел всматривался в ее полумрак, осознавая, что весь его запал исчез и что сегодня он ничего сказать не сумеет.

После он много раз вспоминал то внезапное свое состояние да вот еще странный посыл памяти, от которого ему померещился облик болезни, и вместе с ним пришло ощущение тревоги. Так с ним случалось иногда, вдруг ноздрей касался запах, которого рядом быть не могло, и он знал, что это ассоциативная память выхватила из окружающего что-то, на что сознание внимания не обратило. Прекрасно понимая природу таких явлений благодаря профессии, Павел не мистифицировал, впрочем и без внимания происходящее не оставлял, анализировал каждый случай и пытался установить в разрозненных явлениях незримую связь.

Но в этот день он впервые сознательно отбросил рациональное. Он всегда знал, что Маша невероятна, а большего знать не желал.

Она не укладывалась в рамки. Она никого не напоминала, не мечтала никому подражать, ни по кому не скучала, ни о ком не тревожилась. Эта ее отдельность, инаковость прежде у Павла тревоги не вызывала, но в тот день в его душе промелькнуло нечто – не мысль, еще только ее предвестник: Маша вообще этого мира не видит, как будто она не здесь...

Павел запомнил это чувство как запах болезни, так неуютно ему давно не было. То ли виной тому оказался нежилой гулкий коридор, то ли беззвучное отторжение, в котором он впервые заподозрил собаку, то ли предположение, что Маша его прихода попросту не заметила. Я же не букет, – подумал он с горечью.

Ему захотелось вернуться домой и погрузиться в работу или, может быть, остаться тут, но тогда включить на полную громкость какую-нибудь заводную музыку, например супер-модную ламбаду, чтобы ощущение призрачности ушло.

Кто из них призрак? Он сам? Она? Или здесь есть кто-нибудь еще?

¹ «редкая птица» – лат.

Последнее время Павлу этот день вспоминался часто. Кто из них призрак, его больше не волновало, но он понимал, однако, что прикоснулся тогда к чему-то для своей судьбы существенному, стоял неподалеку от разгадки, что же она такое – его будущая жена. Знал он также, что остановиться было уже не в его власти. Даже если бы угрозой будущего постигло его в тот час судьбоносное откровение, все равно он переждал бы несколько дней и пошел бы к Владимиру Ивановичу, признаваться и просить помощи в сватовстве, этом щепетильном деле, справиться с которым в одиночку оказалось для него непосильным.

А в тот час Павел отчетливо ощутил, что пришел не вовремя. Тревога и смятение выросли мгновенно, он поднялся с дивана и, чуть не столкнувшись с Машей в коридоре, смутился и выбежал на лестницу. Крикнул, захлопывая дверь: «Ты занимайся, я потом позвоню», и понесся вниз по ступеням, разрезая густую тишину почти полностью выселенного дома...

«...Дерево упало на гараж, сломало заднюю стенку и пробило крышу». Услышав странные слова, произнесенные женой, Павел снова вспомнил то чувство, от которого бежал в день своего несовершеннолетнего сватовства. Состояние призрачности, когда даже в теплую погоду странный холод проникал в тело и бродил внутри какое-то время, не оставляло. Озноб тыкался то под ребра, то в желудок, а то в яремную ямку, словно ища выхода, и так продолжалось до двери квартиры, за которой обычно Павлу легчало.

Дома мать накрыла на стол, оглядела угрюмого сына, шумно вздохнула и ушла в свою комнату. Павел поужинал, посидел, побродил, нигде не нашел себе места и отправился следом. Рассказал: Маша заговорила, только чего теперь ждать, вообще непонятно. Но, может, это всего лишь сон ей приснился и все обойдется?

Нина Дмитриевна успокоила сына, наверняка, мол, ничего страшного, это случайность, заговорила девочка, вот о чем надо радоваться, а не кликать беду. Потом, – Павел это хорошо запомнил, сказала, что Страхо со дня, когда с Машей произошло несчастье, ни разу не ел... Она уже беспокоиться начала, сдохнет пес, а Маша поправится и не простит. И как раз сегодня, – это знак, Паша, добрый знак, – он впервые поел! Поэтому все непременно кончится хорошо!

В этот день Павел повысил голос, что в семье случалось не часто. Ему не хватало только, чтобы вслед за женой еще и мать возвела эту собаку в непонятно какое звание. Он, видите ли, поел, и это хороший знак! Лучше бы мать продолжала молчать, как это делала в его детстве, а то нахватались всякой ерунды и теперь вещает о знаках и знамениях с умным видом! Да и кому бы говорила, а то ему, а он терпеть не мог всякого непрофессионализма. И ведь сама педагог, но ведь ничем не лучше бабок у подъезда, а собаку эту вообще бы не видеть никогда!

Павла мысленно понесло, потому что жена советовалась с псом, как с оракулом. Задаст вопрос, посидит молча перед звериной, а потом глаголет всякую всячину, явно надерганную из низкопробных эзотерических книг. И еще смертельно обижается, если Павел протестует: как он может ей не доверять?

– Да вы совсем спятили что ли, с этим псом, слышать не хочу о нем ничего! А ты проваливай вон отсюда! – заорал он по очереди на обоих.

Страхо не двинулся с места, даже не дрогнул своими лысыми веками, Нина Дмитриевна закрыла лицо руками, всхлипнула: «Нет, как ты можешь?» и наверное ушла плакать, потому что при сыне себе этого никогда не позволяла, а Павел еще около получаса метался по квартире, испытывая попеременно два желания: то постыдное – задать собаке какой-нибудь вопрос, а то логичное и вполне им оправданное – пнуть ее ногой в брюхо.

В глубине души он был ужасно уязвлен. Ведь ему даже в голову не пришло, что Страхо все эти дни не ел, а если бы и пришло, он эту мысль отбросил бы как бредовую. Утешало одно: кормежкой собаки он обычно не занимался.

На следующий день попасть в больницу Павлу не удалось, на фирму нагрянула проверка, и, хотя он был об этом предупрежден, пришлось задержаться.

Когда же он наконец вернулся домой, оказалось, что загнать машину в «ракушку» не удастся. Чей-то канареечный «Гетц» перегородил въезд, причем сделал это без всяких видимых оснований: сдвинулся он чуть правее, обоим вполне хватило бы места.

«Как пить дать, хозяйка – женщина», – не обнаружив логики, удрученно рассудил Павел и поставил свою машину в конце съезда с малой дорожки на основную.

Утром он нашел гараж продавленным. Его раскучил старый тополь, сваленный ночью ураганным ветром. При этом «перст судьбы» – «Гетц» не пострадал, а стоял, укрытый, как шляпой, тонкими ветвями верхушки упавшего дерева и выглядел кокетливо и слегка приурковато.

«Штормовое предупреждение. Дерево упало на гараж, сломало заднюю стенку и пробило крышу», – Павел покрылся испариной, позвонил матери, уселся в свою невредимую «Тойоту» и, нарушая правила движения, что было ему в общем не свойственно, помчался к тестю. Только Владимир Иванович, даже если самому лихо, мог вернуть Павлу потерянное равновесие.

Много лет назад, когда Павел с позором сбежал от сватовства, если быть точным, то от самого себя, совершенно утратив в тот час такой необходимый ему самоконтроль, он помчался на работу и сидел там до ночи. Дежурил тогда знакомый вахтер, который не удивился Павловой причуде, – работать в выходной: головой покрутил для порядка и визитера пропустил, подумав про себя, что ученые народ чумовой, а этот Прелапов хоть и молодой, а по всему синоптик, пятерочная судьба. Баб на них нет, мне бы его годы, – вздыхая, вахтер запер двери и запыхтел папироской.

Отвлечься у Павла получилось скорее условно. То и дело погружая руки в волны каштановых волос, он застывал и глядел перед собой, забывая, о чем читал.

Вахтер почти угадал. Павел и школу окончил с медалью, до золотой не дотянув из-за троек по химии и рисованию в восьмом классе. В это время он неожиданно увлекся футболом и не рассчитал силы. Но в старших классах он посерьезнел, спортом занимался по-прежнему, не желал ни в чем отставать от сверстников, но, благодаря памяти, учебу выправил. Он всегда умел сосредоточиться и забыть обо всем, что мешало в данный момент. А тут распустился, распустился!

И собраться никак не удавалось. Павел решил не выполнять обещания, не звонить Маше, догадываясь, что она и не думала огорчаться от его побега. Как пить дать, она и пяти минут не помнила, что я вообще приходил, досадовал Павел и накручивал себя: Ей же никто не нужен! Совсем!

Его хватило до ночи и потом едва до утра. Владимиру Ивановичу на работу не позвонишь, церковь все-таки, но хорошо воскресенье. После завтрака Павел поехал в храм, переждал окончание службы и, едва священник направился к выходу, вышел из-за угла и встал в проходе.

– Здравствуй, Паша, здравствуй! – отец Владимир, заметив Павла, закивал, укорил шаги. Подошел, взял за локоть. – Случилось что?

– Мне бы поговорить. Только чтобы никто не мешал, дядь Володь!

– Пойдем, пойдем! – и они еще минут пятнадцать шли, прежде чем удалось попасть в служебное помещение.

Конец восьмидесятых, прихожан хоть и не слишком много, но все же значительно больше, чем раньше, люди, в основном женщины, останавливали батюшку, задавали вопросы, просили благословения. Наконец Владимир Иванович закрыл дверь за собой и Павлом, и тишина храма сразу легла туманом, приглушила и свет, и звуки.

Павел туман любил, ему всегда легко думалось в тумане. Он вздохнул и улыбнулся слегка. Надо было себя так накручивать? Все будет хорошо! А с Машкой никто бы на его месте не справился, от нее спятить можно, если принимать всерьез, она же неуловимая!

– Ну что, сынок, что у нас с тобой сегодня? Мама как? – отец Владимир прошел в смежную комнатку трапезной, где блестела показательной чистотой кухня. Чиркнул спичками, зашумела конфорка. – Чайку попьем?

– Мама хорошо, дядь Володь. Чайку можно. – У Павла опять вспотели руки, и он в который раз на себя разозлился, ведь взрослый мужик, и вегетатика вроде в норме, что же его так носит!

Встал, заходил туда-сюда, пару раз комнатку шагами измерил, священник поставил чайник и остановился в дверях.

– Красивые цветы ты принес, Паша, Машуня уж не знала, что ими украсить вчера. Представляешь, перед сном вазу на пол поставила у своего изголовья, даже Страхо подвинуться пришлось.

– Я вот как раз о ней и хотел, – выдал Павел, поднял глаза на священника и вдруг рассмеялся. – Туман!

– Туман? – Владимир Иванович наморщил лоб, и решил было, что снова не угадал, о чем пойдет речь, было уже такое однажды в этих стенах.

– Да нет, это я так! Просто иногда в тумане легче... Ну, когда ничто не отвлекает снаружи, проще всмотреться в суть. Я хотел, – тут Павел набрал побольше воздуха и выдал как на духу: – Короче, люблю Машу и хочу на ней жениться. Но не знаю, как ей сказать, потому что она мне в глаза не смотрит. Я собственно пришел просить руки вашей дочери, как говорится, с официальным предложением пришел.

Едва Павел замолчал, как тут же Владимир Иванович его обнял, захлопал по Павловым плечам, спине, обнял снова... Случилась с ними обоими в этот момент какая-то невыразимая радостная суeta, и Павлу не удалось «побыть драматическим актером», как он втайне это себе представлял. Владимир Иванович приговаривал, что большей радости и большего подарка от жизни и не ждал, что Господь услышал его молитвы, а Павел для Маши самый лучший жених, единственный, который ей уготован и сужен, что они давно родные люди, а теперь...

– Но теперь-то маме нужно будет сказать, что ты крещеный, Паша! Разобидится она на нас конечно, но по-другому нельзя. Ты же будешь венчаться-то? – неожиданно обеспокоился Владимир Иванович.

– Буду! – Павел ответил слишком поспешно и тут же одернул себя. – Я буду! И маме, я думаю, все равно, крещеный я или нет. А Маша? Маша-то, а вдруг она не согласится за меня? А?

– Да она давным-давно согласна за тебя, хоть и живет не так уж долго, – Владимир Иванович покачал головой. – Неужели ты сам-то не видал, что нет для нее другого на свете? Эх вы, вы... Ладно! Ты давай тут побудь, время-то есть у тебя? Я отойду на полчаса, а потом домой, да и с Божьей помощью...

Павел помнил, как стучало его сердце – громко, медленно, как будто каждый раз разбегалось для удара, когда они явились на улицу Грановского. Маша сидела дома, обрадовалась, чмокнула обоих, спросила об обеде, ушла в кухню. Страхо на этот раз и к двери выходил вместе с хозяйкой, и в кухню за ней отправился, ни на шаг не отставал, а когда Владимир Иванович позвал дочь и попросил ее послушать что-то важное, сел рядом, голову поднял и задышал, уронив поверх ошейника тяжелый язык.

– Мы вот хотели спросить у тебя, Машуня, – начал Владимир Иванович, положив Павлу руку на плечо, и Маша остановилась, улыбнулась вопросительно. – Вот Паша принес мне сегодня важную весть. Очень важную! Я тебе скажу, а ты ответь серьезно, потому что многие ангелы сейчас летают вокруг и прислушиваются, так ли ты скажешь, как надо, как должно.

Паша руки твоей просит, Машуня, вот какой у нас сегодня счастливый день! Пойдешь ли за него?

– Пойду. – Она продолжала спокойно улыбаться, только головой назад качнула слегка. – Пойду конечно! – а улыбка все шире, глаза в щелочки, хвостик над ухом намотала на палец. И пес у ноги с языком во всю грудь. Маша протянула одну руку отцу, другую будущему мужу. – И мы теперь поженимся и поженимся, Паш-Паш! Я всегда это знала!

– Ну вот и слава Богу, и помолимся! – Владимир Иванович, пряча слезы, подошел к стене и бережно снял икону для благословления.

В голове у Павла не нашлось бы в тот час ни одной умной мысли. Он все еще боялся свою невесту обнять, но касался слегка то плеча, то пальцев руки, а она, сияя глазами, подходила близко и припадала на минуту, или летела вдруг к нему, и он аккуратно ее обнимал.

Не дышал. Не верил себе. Был счастлив.

Теперь Павел снова мчался за помощью к своему тестю и отцу Маши. Не подпуская близко рациональное, он надеялся получить хоть какое-то, пусть обманное утешение. «Совпадение, банальное совпадение!», твердил он себе.

Павел ввалился в квартиру, как к себе домой, а иначе и быть не могло, потому что когда-то они с матерью жили именно здесь. В этой самой двухкомнатной хрущевке с узким коридором, крохотной кухней за ужатым до почти непригодности санузлом и двумя комнатухами, обклеенными одинаковыми обоями в цветочек. В одной комнате обои были светло-розовыми, в другой, где спал Павел, едва зелеными. Двери комнат друг напротив друга, и, если встать в проеме левой от входа комнаты, то вся остальная квартира даже не на ладони, а под носом, настолько мала. Выезжая, Прелаповы некоторую мебель Владимиру Ивановичу оставили, и, грустно сказать, за все эти годы он так и не согласился сделать ремонта, так и жил в зеленых и розовых цветочках, как при них, разве что краски еще больше поблекли, совсем потеряли цвет.

Вот тут-то, в доме своей молодости, Павел и оказался, и, переступив через порог, заметался, забегал, потеряв себя.

Он повел себя так, что потом вспоминать было тошно, потому что не сделал даже попытки подготовить тестя, а все сразу и выпалил. По свойственной ему привычке проговаривать задачу по несколько раз в поисках ее решения, он, рассказав о Машиных словах и о том, что затем случилось с гаражом, взялся было пересказывать это снова и увлекся. Остановился Павел только тогда, когда понял, что Владимир Иванович молчит, хотя по всему давно должен был бы вступить в разговор.

– Так вот, – протянул он, не зная, как быть дальше. – Она сказала о дереве, и я предположил, что ей приснился кошмарный сон. Но она улыбалась, значит, кошмаром это быть не могло, – Павел все яснее осознал, что повел себя неадекватно. Он поднял глаза в ожидании ответа и умолк. Хотелось помощи, поддержки, любого понятного разъяснения.

Но в этот раз Владимир Иванович ничем не смог своему зятю помочь. Он медленно заходил по квартире, завздыхал, делая остановки, похлопал Павла по плечу, предложил выпить по рюмке, но не налил, и лицо его было темным, тяжелым, как будто наполненным ртутью.

В молодости Владимир Иванович был ярким блондином с усыпанным веснушками молочным, словно флуоресцирующим лицом. С годами его кожа поблекла, волосы потянулись в серое, а расплзшиеся веснушки укрылись морщинами и в глаза уже не бросались. Но сейчас они бугрились и казались воспаленными на потемневшей коже.

Павел любил тестя и немедленно начал есть себя поедом за то, что пришел искать поддержки у старого человека и перепуганного отца вместо того, чтобы скрыть все, а там будь что будет.

«Трепло. Паникер. Баба! Помощи решил попросить! Мыслимо ли сказать священнику, что его дочь что-то напороочила!», – расклепывал Павел сам себя и, ощущая внутренний

сквозняк, не знал, уходить ему или оставаться, опровергать вслух свое предположение, которое не только священника, а кого хочешь сведет с ума, или молча ждать, не отыщет ли все же тесть в закромах души что-нибудь ободряющее.

Это почти всегда удавалось.

Если случалось им остаться вдвоем, не сговариваясь, они отодвигали мирское. Тогда Владимир Иванович читал Библию или рассказывал о ней, а Павел расслаблялся и слушал, чувствуя, как в него вселяется покой. Правда последнее время жизнь побежала быстрее, и такие встречи случались все реже. Они стали теперь чем-то, о чем проще помечтать, чем осуществить.

Павлу порой настолько хотелось к миру церкви припасть, насколько с годами он для себя осознавал это все более невозможным. Он гордился тем, что существовал автономно, кроме семьи никого в слово «мы» не включал, и именно так определял себя: все, чем он пользовался в этой жизни, было плодами его, Павловых, конкретных действий. Никакого такого «промысла», кроме элементарного здравого расчета, в его жизни по определению быть не могло. Но в том-то и состояла ценность встреч с отцом жены, что появлялась возможность отбросить в сторону любое здравомыслие, и Павел делал это с тягучим удовольствием, словно медленно качался в надежном гамаке детства.

Он никогда с Владимиром Ивановичем не спорил, даже внутренне не вступал с ним в противоречия, не приводил примеров собственных раздумий, да они, как правило, и не всплывали в эти редкие часы, разве что когда тесть сам спрашивал, что по данному поводу говорит наука. Тогда приходилось из драгоценного успокоения выныривать, и Павел неохотно возвращался к современным терминам и определениям, которые наверно должны бы были приносить более явное ощущение стабильности, чем не подтвержденные ни единым фактом, кроме веры, религиозные догматы.

Однако этого не происходило, и томление не отпускало.

...В прежние годы, когда они с Машей еще не были женаты, работа Павла пусть отчасти, но насыщала. Задачи, над которыми он трудился, а главное, о которых мечтал, будоражили воображение и вселяли честолюбивые мечты. Только вот гармонии, спокойного равновесия, в котором он так нуждался, у него практически не наступало.

– Мне нужен адреналин, я тут закисаю! – посетовал однажды его коллега.

– А мой высший потенциал достигается исключительно в стабильности, – Павел меланхолично пожал плечами и подумал тогда, что самодостаточным людям подстегивание не требуется.

Он погружался в рабочие эксперименты, для чего, к слову, возможности уменьшались на глазах, или срывался к друзьям и пропадал в компаниях с гитарами, девочками и неосуществимыми планами. Он отдыхал дома, обложив себя любимыми книгами, или бродил по улицам, обдумывая что-то. Чем бы ни занимался, он постоянно ощущал ту самую «вилку», мучительное раскачивание между взаимоисключающими «хочу».

Ему приходилось постоянно понуждать себя ко всему, чем бы он ни занимался. И только если рядом оказывался батя, Павел переставал чувствовать вечное свое одиночество и в некотором смысле бесплодность. Вера Владимира Ивановича словно обволакивала и согревала. Но стоило им расстаться, ощущение уюта и безопасности исчезали.

Работа могла бы захватить Павла, но в полной мере этого не случалось. Заниматься тем, чем хотелось бы, не удавалось.

В восьмидесятые годы все чаще создавалось впечатление, что никому ничего не нужно. Казалось, все основополагающее, все, считавшееся неизблемым, пришло в движение и медленно расползается как траченная молью ткань, и скоро Павел вместе с коллегами окажется на руинах своих планов и разработок. Настроение Павла то и дело двоилось, внутренней устой-

чивости он не обретал. «Я мешаю себе самому», – понял он однажды, и с тех пор посматривал на людей с точки зрения поиска гармоничных личностей, коих, в общем-то, не встречал.

Пожалуй, Маша казалась ему устойчивой, если только никогда не вспоминать тот самый запах болезни, того откровения, которое он когда-то отбросил. К гармоничным личностям Павел мог причислить разве что Владимира Ивановича, и он сам хотел бы стать таким же, если бы... Если бы это не требовало церковной жертвы. Не той, что в Евхаристии, нет, Павел обрывал попытки сформулировать происходящее даже для самого себя. Он ощущал невозможность жертвы человеческой, социальной, добровольных ограничений, во многом не оставляющих церковнослужителю права на ошибку. Все это, а также несомненная строгость жизни, без которой священнику не состояться, делали путь, который избрал Владимир Бережков, для Павла невозможным. Это было главной причиной, по которой он постепенно стал отдаляться от церкви и вскоре, кроме как через тестя, с религиозной жизнью у него связей не осталось. Важность же религии Павел никогда сомнению не подвергал.

Он чтил выбор Владимира Ивановича как один из лучших, достойнейших и, едва очутившись рядом с ним, перенимал его тон. Не стараясь подражать в мыслях, он точно помнил при этом, что тут не его монастырь.

Но в этот день в голове Павла случилась редкостная путаница. Ничего похожего ни прежде, ни потом он за собой не помнил, объясняя позже свое поведение банальным нервным срывом. Он осознал молчание тестя и решил положение исправить, но никаких граней не отследил и во второй раз понесся, не разбирая дороги, думать вслух.

– Батя, – говорил он, – ты меня не слушай, это я так, скорее всего, я просто перенервничал зря. Кома, конечно же, видоизменила Машино сознание, но выводы делать рано. И, безусловно, ни о каких необъяснимых свойствах речь тут идти может, и слушать меня не стоит, я просто сгруппил, навоображал невесть что. Тем более что Маша и раньше отличалась от всех...

Павел понесся по маленькой квартирке, и было видно, что внутри самого себя ему так же мучительно мало пространства для выводов сейчас, как для движения по узкому коридору. Он останавливался, глядел в стену, снова пробегал мимо тестя, едва не толкая его, он страдал вслух и не пытался этого скрыть, он не видел ничего вокруг себя. Меняя порядок слов, в сущности, он повторял одни и те же предположения, крутил их так и эдак, словно был не в силах пробиться сквозь сеть, которую они пред ним сплели. Он признавался в страхе и неверии в лучшее, предполагал необратимые перемены, воздевал руки и, замолкал, хватал себя за волосы и, опустив вниз лицо, качал из стороны в сторону головой.

– Самое страшное, что мы не знаем, чего нам теперь ждать. Но я ко всему готов, я ко всему готов! – Павел перебивал себя. – Только бы эти ее пророчества не стали чем-то обычным, потому что даже сейчас у науки данных не достаточно, мы не сумеем их объяснить! От этого можно спятить, если у тебя жена-пророчица, понимаешь, батя, да и где это видано вообще? Все эти экстрасенсорные химеры, никогда бы не подумал, что это меня коснется! И вот пусть только не это! Только не это, потому что тогда я как пить дать рехнусь! А остальное я смогу, я справлюсь, вот увидишь, справлюсь!

Он говорил не о Маше, он говорил о себе. Позже, вспоминая эти выкрики, Павел приходил в неописуемый ужас, такого стыда по самому себе он прежде не испытывал никогда. А в этот день он носился по крошечной квартирке, задевал боками за углы, а Владимир Иванович так и стоял в торце коридора, опираясь на ручку закрытой двери в спальню, бывшую комнату Нины Дмитриевны.

– Ты что-нибудь знаешь о голографическом принципе работы мозга, батя? – Мысль Павла делала новый виток. – Посмотри, чем отличается голограмма от фотографии! Тем, что если обычное фото можно порвать на две части, то в каждой останется только половина изображения. А в двух половинах голограммы у нас с тобой будет по целому изображению в каждой! И если дальше измельчать половинки до определенного предела, это явление сохранится:

в каждом кусочке будет целое! Так вот считается, что именно по этому принципу работает мозг! И да, нам известно, что здоровые клетки по возможности замещают поврежденные ударом, просто на это нужно время. Но ведь и один крошечный сосудик, – тут Павел, сведя вместе большой и указательный пальцы, потряс ими перед собой, – способен произвести необратимые изменения в работе мозга, тогда человек, даже если выживет, уже никогда не станет прежним!

Владимир Иванович медленно опустился на стул и, положив руку себе на грудь, замер.

Павел в который раз развернулся и остановился резко, словно ударился об стену.

– Как же это все чудовищно, батя. Все, что я говорю, все эти вещи нам не в силах помочь. Но я подумал, я знаешь сейчас что подумал? Я же все последние ночи если и спал, то на одной ноге, так может, этого ничего и не было? Может, я заснул, Маша заговорила, и я с испугу принял за явь собственный сон? Батя, а? Ну, скажи! Мог я заснуть, а потом погнать весь этот бред? Иначе это же чертовщина какая-то...

В голосе Павла прозвучало отчаяние, он все еще взглядом блуждал, но Владимир Иванович словно очнулся.

– Ты уснул? – механически повторил он.

– Факт, заснул сам и забредил во сне! – не веря себе самому, понизил голос Павел.

– Возможно и правда уснул... – Владимир Иванович прикрыл глаза, будто показывая, что такое и правда могло случиться. Потом вздохнул тяжело и добавил: – Только если это твое сознание такую шутку с тобой сыграло, значит, про машину напроорочил ты сам?

Внезапно лицо тестя расплылось у Павла перед глазами. Медленно, не веря самому себе, он осознал, что впервые в жизни, обращаясь к своему дорогому батю, заступил за территорию веры, спокойствия и Божьего промысла, и что так он в присутствии тестя, да и вообще ни при ком не распускался никогда.

– Мое сознание. – Механически повторил он.

Совершенно поверженный, опустошенный как своим состоянием, так и пониманием, что способен попать свою же святыню, а значит, он сам о себе ничего не знает, поникший Павел попятился.

Он уже стоял в дверях, когда Владимир Иванович поднялся со стула, сделал несколько шагов по коридору и... оплатил ему тем же, то есть произнес нечто на первый взгляд совершенно несусветное:

– Алтарник у меня молодой... Григорий. Ушел. Такой серьезный парень, мне казалось, уж он-то у нас навсегда. И знаешь, что он мне сказал? Как обосновал? – вздохнул тяжело и произнес, словно сам не верил: – «Мне больше нравится смотреть в алтарь, чем из алтаря»... – И без того грузный, рыхлый, Владимир Иванович непривычно подтянул плечи к ушам и стал похож на больного медведя, поднявшегося на задние лапы. – Ты понимаешь, ведь за этими словами мировоззрение... И не просто... Как у тебя... – Казалось, каждое слово он произносит с усилием. – Я даже не сразу понял, а потом как будто услышал. Ты... Ты иди, сынок. Иди. Как-нибудь поможет нам Бог... – И опустил голову.

Никогда прежде Павел не видел Владимира Ивановича таким бедственным, именно в этот миг он окончательно очнулся и вскинулся даже, потому что не понял, что означает «как у тебя».

«А как у меня?» – подумал коротко: ко всему тому, что наворотил сам, он теперь еще будет мучиться, пытаясь догадаться, что имел в виду батя, почему сказал именно так.

Про алтарника он тоже не сразу понял, скорее почувствовал, что в этих словах таится опасность, и из-за нее может измениться не только жизнь тестя, но и всех остальных.

Совершенно обессиленный, Павел пробормотал: «Пошел, батя» и неуклюже выдвинулся за дверь. На улице не сразу сообразил, где оставил машину, минут пять топтался, озирая родной двор так, словно он тут раньше не был, и впервые в жизни чувствуя боль в груди, которую немедленно принял за сердечную. И только подъезжая к дому, отбрасывая досадные мысли

о несовершенстве собственной персоны, которую привык уважать, он тоже словно «услышал» слова, сказанные отставным алтарником. Услышал и, ему показалось, что понял, а, поняв, будто схлопнулся. Стало нечем дышать.

Жить с этим открытием показалось невозможным.

...Маша за спиной не умолкала, но ее слова едва проникали в сознание. Никак не удавалось прервать череду воспоминаний, которые сыпались беспорядочно, как монеты за подкладку сквозь дырявый карман.

Деревья за окном выглядели отвратительно. Крайние ветви пытались оторваться, отстающие их когтили. На минуту Павлу показалось, что картина за окном лежит в другой плоскости, и это не деревья, а растревоженное змеиное гнездо. Даже не гнездо, а целое городище из фильма ужасов.

Как всегда, когда недовольство окружающим приближалось к его личному пределу, Павел попытался взять себя в руки, оторвал взгляд от гнетущего пейзажа и обернулся.

Маша сосредоточенно рассматривала селедочные куски, выискивая последние мелкие кости.

Владимир Иванович однажды сказал интересную вещь, Павел по разным поводам вспоминал его слова: «Вы думаете, что если вы „тут“ терпите, то „там“ вас ждет рай? Вы ошибаетесь! Рай „там“ может быть, если здесь – любовь! А если вы здесь терпите, то и „там“ будете терпеть! Терпеть в вечности!»

– Нас четверо, так пока еще будет четверо. Заграничную нашу матушку не отговаривай, она уже все спланировала и со всеми поговорила. Все-таки я вся перемазалась, анчутка я неказистая. Достань мне пищевую пленку, селедку обернуть. Надо все убрать, а то Гоня слюнки глотает.

Гоней, Гонечкой и еще бог знает чем Маша называла пса. Конечно, именно о нем стоило сейчас беспокоиться, – взвинтился Павел, долгожданного личного предела достиг и наконец обуздался.

Подобное, конечно, происходило раньше, случалось постоянно, и, похоже, было обречено повторяться вновь и вновь до скончания времен. Но главное то, что следовало это любить. Не терпеть, за терпение полнаграды, а именно любить.

Владимир Иванович раньше объяснял, что, хоть и говорят: «Бог терпел...», все же это состояние не совсем христианское, да и выражение вовсе не евангельское. Мол, если терпишь, значит, себя преодолеваешь. Из чувства долга, из осторожности, из милосердия, из расчета, из здравого смысла, будь он неладен... Из чего угодно, но не из любви.

Потому что только любовь органична истине, и если действительно любишь, терпение не приговора.

Он подошел к жене, погладил ее по голове, убрал за ухо русую кудряшку и почувствовал, как ему полегчало. Маша подняла глаза, взглянула, и настроение Павла едва не покатило обратно. Жена смотрела как ребенок, глаза светились доверием и нежностью.

– Как ты считаешь, Пашенька, ведь селедку собакам нельзя? «Пашенька»! Он чуть не съязвил: «Спроси у самого, ты же во всем с ним советуешься», но сдержался.

– Мне пора на работу. Хочешь, поедем завтра в парк? Погуляем? С утра. Поищем персонажей? – Павел все еще смотрел ей в лицо, а она щурилась, словно силясь что-то вспомнить.

«Персонажами» прежде они называли прохожих, на которых невзначай останавливали свои взгляды, и тут же взхлеб начинали сочинять разные истории. Иногда Маша вспоминала об этой игре. Случалось, даже принимала участие в придумывании сюжетов, только они теперь были совсем нежизнеспособными, нелепыми, сродни зимним сарафанам, которые не пригодятся никогда.

– Погулять? – наконец ответила Маша. Ее непослушная память играла по своим мозаичным правилам, как ребенок, скрывая очевидное и выставляя напоказ несуществующее. – А разве ты не собирался работать дома? Ты же говорил, у тебя срочная работа?

Павел давно не брал подработок, но огорчать жену не стал.

– Не такая уж срочная. Ну, как тебе моя идея? – И на всякий случай добавил: – Про парк.

Она заулыбалась: «Гонечка, нас завтра берут в парк!» Павел поцеловал ее в висок, отстранил и прошел по короткому коридору к комнате матери. Из кухни едва слышно зазвучало: «Я твою могилку и-скал...». Маша запела так, будто колокольчик понизил голос до шепота.

– Ма, – постучал Павел в дверь. – Доброе утро. Ты встанешь? Мне пора на работу, Маша на кухне одна.

Необходимости будить мать, в общем-то, не было. Маша, оставленная в одиночестве, опасений не вызывала. Она тщательно следила за электроприборами, выключала воду и неадекватных поступков не совершала. Она даже не стала бы в одиночку двигать мебель, такая мысль могла посетить ее только от образа праздного мужа, который, невзирая на свои сопутствующие страдания, немедленно бросался ее указания выполнять. Гастрономические идеи озаряли Машу также исключительно от вида домочадцев, даже если, как случилось сегодня, это была спящая свекровь. Если же родственники удалялись из поля зрения, Маша чаще всего вязала бесконечные шарфики или валяла коврики из разноцветной овечьей шерсти, которые потом дарила гостям или раскладывала по стульям и диванам, если только вспоминала о них.

И все-таки пару раз за последний год она огорчилась до слез, заметив, что рядом никого нет. В своей печали Маша смотрелась такой трогательно-беспомощной, что домашние, не сговариваясь, решили без особой нужды одну ее не оставлять.

– Ма. Ты меня слышишь?

Из-за двери раздались медленные звуки, вздохи и поскрипывания. Павел никогда не понимал, что именно скрипело, когда по утрам его мать поднималась с постели. Диван, на котором она спала, крепкий, он звуков не издавал. Да и сама Нина Дмитриевна на взгляд сына была сделана добротной, в свои шестьдесят пять лет чаще выглядела бодро и, как правило, на здоровье не жаловалась.

Но все-таки каждое утро в ее комнате что-то постанывало, а Павел невесело гадал, что бы это могло быть.

– Встаю.

Он надел плащ и дожидался в дверях, когда мать вышла из своей комнаты, застегивая нижние пуговицы жесткой голубой в белую клетку рубахи, выпущенной поверх коротких домашних штанов. Жилистая, немного сутулая, с крупной грудью и аккуратными бедрами, волосы она красила в природный свой каштан и недавно сменила привычное «каре» на короткую стрижку. Смуглой нестареющей кожей, широко поставленными карими глазами, округлой спиной да вот еще застывшим, почти неизменным выражением лица Павел был похож на мать.

Он посмотрел на нее, как на самого себя в будущем.

– Хорошо выглядишь, ма.

– Спасибо, – она едва улыбнулась и кивнула, будто поставила «пять» ученику. – Как она?

– Ворчала немного, но без нервов. Слышишь – «Сулико». Почистила селедку. Говорила о тебе, но я не понял. Ты вроде никуда ехать не собираешься?

– Ехать? – Нина Дмитриевна слегка смешалась. – Да нет... Хотя... Я как раз хотела посоветоваться. Моя подруга летит с внуками в Египет. Ей, как и мне, в жару на юг нельзя. Что бы ты сказал, если бы я тоже? Нет, ты пойми, подышать воздухом на пару недель. И ты же сам говорил, что мне давно пора выезжать за границу. Владимир Иванович как раз в отпуске, он мог бы пожить у нас!

Последняя фраза прозвучала увереннее предыдущих, мать знала, что своим предложением сына не огорчит.

– Давно пора, это да. Но... Ты договаривалась при Маше?

– Нет, конечно, она спала... Подожди, – Нина Дмитриевна вопросительно качнула головой и придержала сына за локоть. – Она об этом говорила?

– Да, – Павел подвигал подбородком, будто что-то жуя. – Сначала сидела перед ним, потом сообщила о нежелательных последствиях. Но, кажется, ты уже пообещала.

– Не то, чтобы... Хотя да, – Нина Дмитриевна вздохнула. – А какие последствия? Что еще говорила интересного?

– Что устанешь и что тебя отговаривать бессмысленно. Деньги тебе нужны? Скажи, сколько. Мне пора, ма. Позвоню, – Павел наклонился, поцеловал мать и вышел на лестницу.

Он снова занервничал, как это случалось последнее время, если Машины пророчества подтверждались. И хотя были у Павла наготове всевозможные объяснения состояний жены и ее особенностей, но все это вместе лишало его желанной стабильности и возвращало, тыкало носом в те сферы, о которых он, как человек здравомыслящий, ничего не хотел знать, хоть и перечитал за последнее время множество тематической литературы. Солидную библиотеку всевозможных трудов по психологии и даже нейропсихиатрии Павел собирал так же быстро, как и прочел, уговаривая себя, что все это ни больше ни меньше чем просто хобби.

Он шагнул в лифт и едва не наступил в зловонную лужу, чертыхнулся, устоял на одной ноге, развернулся и пошел вниз по лестнице с третьего этажа, проклиная совдепию и ее неисребимых потомков. Лучше в самом деле совсем не иметь детей, чем однажды понять, что у тебя выросло такое, пока ты ему же зарабатывал на хлеб с плеером! – взбешенный, он спустился на первый этаж и уже собрался покинуть подъезд, но тут открылась дверь квартиры и на площадку первого этажа выкатила коляску миловидная женщина, которой раньше он здесь не встречал. Лестница к двери на улицу высокая, полозьями для колясок не оборудована. Павел подхватил коляску, не взглянув внутрь, спустил ее вниз, вывез из подъезда и передал молодой мамаше.

От наступившего дня он ничего позитивного не ожидал.

Глава вторая.

О профессиях Павла и о том, как он относился к самому себе

С трудом пробираясь между плотно поставленных машин при выезде из дворов, Павел поуспокоился. Он ехал на работу и минорно размышлял. Чем больше проходило времени, тем очевиднее становилось, насколько болезнь жены выбила его из колеи. Полтора года, а ему все не удавалось прийти в себя, найти хоть какую-то внутреннюю опору, раз внешние отказывались служить.

Не оценивать себя, так жить он не умел, ему просто необходимо было понимать причины своих поступков, подоплеку каждого выбора, каждого внутреннего порыва. На новой планете, куда перенеслась его семья после Машиной комы, ему прижиться не удавалось. Все то, что он строил в себе от молодых ногтей, те самые необходимые ему объяснения себя, которые он сформулировал когда-то и расставил подобно верстовым столбам, теперь не показывали направления дорог. В жизнь его вселился безнадежный автоматизм, Павел больше не понимал, кто он такой, разрываясь между болью, называемой «Маша», жалостью к себе, необходимостью выжить и тоской по тому времени, которого не вернуть.

Ему необходимо было что-то найти внутри себя, узаконить эту невыносимую качку, рядом с которой все его прошлые «вилки» казались детскими качелями в безопасных родительских руках.

– Мам, как ты считаешь? – разговорился он как-то давно, еще готовясь к диплому. – Я аккуратен, надежен, вынослив, терпелив, неконфликтен. Разве этого мало? – Павел имел в виду возможности удачной карьеры, но в ответ получил больше ожидаемого.

– Это много, Паша, у тебя вообще замечательный характер и большие способности! Ты непременно будешь успешен в работе и личной жизни! – Нина Дмитриевна посмотрела горделиво, ответила возвышенно, и Павел с пониманием ей кивнул.

Еще тогда он раскладывал по полочкам все конструктивное, что находил в своей натуре, и оставался вполне доволен тем, что у природы получилось. В свое время ему хотелось кое-что в характере улучшить, и он испробовал на себе некоторые нашумевшие психологические техники, со всей скрупулезностью к этому вопросу подошел. Ничего из затеи не вышло, однако Павел обеспокоился не настолько, чтобы впасть в депрессию от невыполнимости задачи. Люди не меняются, в этом его с тех пор переубедить стало невозможно. Он считал теперь, что со временем умные научаются скрывать те свои черты, с которыми в социуме неудобно выживать. Они контролируют себя, как это делают и прочие самокритичные люди. А дураки, ну что ж. Дураки народ счастливый. Их в себе ничто не беспокоит.

В ту пору Павлу нравилось думать, что, доведись ему познакомиться со своим прототипом, он моментально определил бы его специальность.

– Только профессиональный психолог может так помпезно рассуждать о человеческих проблемах, так отлично понимать собственные, и быть настолько неспособным себе помочь, – сообщил он однажды зеркалу и подавил желание оглянуться по сторонам.

Он взвинчивался, сталкиваясь лоб в лоб с очередной жизненной задачей, которая казалась неразрешимой, и, несмотря на негативный опыт работы с самим собой, вновь испытывал желание «сдаться» практикующему коллеге. Однажды даже позвонил знакомому под предлогом, что психоаналитика ищет кто-то из друзей.

– Все эти новомодные практики, трансформации личности дают, конечно, некоторое утешение, снимают стресс. Все же я полагаю, надеяться на глобальные перемены личности

смешно. Хотя почему не помочь человеку, если он в это верит? – так, получив адрес, которым никогда не воспользовался, Павел разговор со знакомым завершил.

Он убеждал себя, что человек не меняется, и однажды записал в своей тетради текст, который показался ему вполне литературным.

«В любых обстоятельствах, – писал Павел и чувствовал себя мудрецом, – каждый словно отработывает свою индивидуальную программу, меняя только способы самовыражения, да и то на короткое время. Стоит всего-то ослабить вожжи, и все приходит на круги своя. Орущий прежде, перемолчит несколько занятий с психологом, и заорет снова. Разрыдается привыкший к рыданиям. Заболеет полюбивший болеть. И никогда не перестанет терпеть вечный терпеливец, сколько ты его не уговаривай распустил пояс и взреветь в пространство. Или вот, еще вместо терпения возлюбить. Сколько не пересаживай его искусственно туда, где вроде бы и терпеть-то нечего».

После этого Павлу захотелось в красках расписать свою вечную «вилку», взаимоисключающие желания, возникающие в нем одновременно.

Сейчас как раз стало модно говорить о когнитивном диссонансе, эти слова повторяли все кому ни лень, он же сознательно уходил от профессиональной терминологии, штампы и формулы его раздражали. По мнению Павла, они обозначали окончание поиска там, где, вместо завершения, должны были открываться новые глубины человеческих свойств.

Но чего он только ни делал, чтобы приучить себя принимать решения, не раскачиваясь перед этим подобно маятнику каждый раз. В конце концов, эта борьба с самим собой его утомила. Павел сказал себе, что его вечные качания всего лишь способ выбора пути. У кого-то это происходит бессознательно, он же все сознает, оттого и терпит некоторые неудобства, принимая решение. Это свойство личности, и оно еще ни разу ничего ему не испортило. Значит, нужно было немедленно прекратить бесплодное самоедство и позволить себе быть самим собой. Вот так, едва задумав продолжить записи, он тетрадку со спокойной совестью закрыл и отложил подальше, чтобы без толку не тратить время.

В Университете Павел учился бесппроблемно. Уже на третьем курсе он начал подрабатывать на кафедре психологии труда, а после защиты уволился и ушел в неприметную с виду лабораторию. Там он собирался посвятить себя эксперименту – это казалось непаянанным полем, на котором можно вполне проявить себя. Диплом психолога по кафедре инженерной психологии представлялся прекрасной ступенью для старта научной карьеры, а отношение к нему как к подающему большие надежды студенту любые сомнения в своей профпригодности уничтожали на корню.

Лаборатория изучения зрительного утомления находилась в конструкторском бюро при крупном отраслевом научно-производственном объединении. НПО, КБ, – в ту пору это были весьма распространенные аббревиатуры. Учреждения могли относиться к какому угодно ведомству вплоть до министерства обороны, и называться тоже как угодно, лишь бы в названии не отразилась суть. Непосвященный житель не должен был догадаться, что какой-нибудь скромный заводик электронагревательных приборов работает на оборону. Для этого при таком заводе существовал магазин, где в самом деле продавались рефлекторы и утюги.

Организация, в которой Павел занимал должность инженера по охране труда, занималась разработкой оптических приборов. Надо сказать, что сама эта должность так же мало говорила о ее возможностях, как и название предприятия. Вот и маленькая лаборатория удачно вписывалась в обычный по тем временам миф об основной деятельности НПО.

«Все во имя человека, все для блага человека» – гласили лозунги и плакаты тех времен, и Павел, подобно тысячам жителей страны, всем сердцем верил, что именно такова цель правительства державы. Преисполненный патриотизма, он и учился отлично, и работал на совесть. Только Нина Дмитриевна оставалась его выбором недовольной.

– Паша, я не понимаю, как можно гробить твои блестящие способности в какой-то, как ты это говоришь? Мелкой шарашке? Нет, это выше моего понимания, право!

Но какого бы названия Павел своей работе в шутку ни давал, это была серьезная лаборатория. Своими разработками в области зрительного утомления она заслужила приличный авторитет в научных кругах. Естественно, тут занимались не только этой проблемой. Но прочее, как положено, тщательно скрывалось, и даже внутри самого подразделения одни сотрудники не слишком хорошо представляли, над чем трудились другие. Особенно если дело касалось вопросов, скрытых под грифом секретности.

Первые годы работы Павел чувствовал себя вполне удовлетворенным. Он был уверен, что совсем скоро начнет подниматься, и поначалу обстановка его устраивала полностью. Стабильность, безусловные перспективы, действительно важные задачи – чего еще желать?

Но началась перестройка, и все, на чем держалась окружающая жизнь, медленно пришло в движение, поползло во все стороны, как отжившая свой век старая рыболовная сеть. Мир завибрировал, заголосил непривычными лозунгами, замерцал туманными ожиданиями.

Первым делом предприятие затянуло на своих сотрудниках дисциплинарные ремни. Но не успел коллектив возроптать, как стало ясно, что вся эта строгость на словах. То там, то тут оставались незамеченными нарушения, которые раньше грозили бы как минимум выговорами, а то и увольнениями. Задания стали «провисать», намеченные планы «зажевываться», и об этом понесся шепот по углам. Гласность как политика государства в стенах НПО обернулась нервными догадками, страхами и сгустившимся туманом недомолвок.

Павлу трудно было представить, что когда-нибудь в дверях секретных предприятий появятся передвижные киоски, в которых, как в фантастических рассказах, окажутся любые книги, все, о чем сейчас казалось немыслимым мечтать. Предположения, конечно, утопические, но, по логике событий что-то подобное могло произойти! Перестройка обещала обрушить любые информационные барьеры, которые, впрочем, Павлу только в работе и мешали. Он мечтал иметь доступ к закрытой литературе для своих разработок и нервничал все сильнее, то предвкушая новые возможности, а то – не веря ни в какой позитив.

А перемены, в самом деле, вершились, и вскоре стало казаться, что страна готовится к отмене всяческих табу.

Павел относил себя к энтузиастам науки и, несмотря на нервотрепку, оставался бы по-прежнему довольным судьбой, если бы не честолюбие. Рядом успешно существовали его коллеги с более прагматичным складом ума, и они давно уже имели не только огромные материальные преимущества, но и допуски к закрытым материалам, а потому осторожно или чопорно сторонились всех остальных. Но даже не это оказалось решающим для Павла: веря в будущую удачу, временное превосходство коллег над собой он бы еще потерпел.

Мысль о том, что нужно менять специальность, впервые зародилась в нем, когда один за другим стали затормаживаться перспективные проекты и отменяться эксперименты, о важности которых кричали только вчера, и для начала которых все уже было предусмотрено. Коллектив роптал все сильнее.

– Это явление временное! – возбужденно утверждали одни.

– Да угробят они науку в конце концов, – куда менее эмоционально цедили другие.

– Неужели непонятно, что это полный развал? – озираясь по сторонам, качали головами третьи, и добавляли, что все возрождение на словах, и перестройка приведет к краху не только науку, но всю страну.

Наконец направление, в котором трудился Павел, тоже посчитали неперспективным. Ну, если даже зрительное утомление трудящихся их не интересует, то чего еще тут можно ждать? – в растерянности Павел стал более внимательно присматриваться к тому, что творилось вокруг.

этому времени разобщенность воцарилась повсеместно: одни боялись, что их опередят, другие впадали в суеверие, третьим вообще ни до кого не было дела. Эти последние, пони-

мал Павел, самый безнадежный контингент для попыток что-либо прояснить, тем более что, стоило кому-то проявить интерес к вопросу не своей сферы, как от него начинали буквально шарахаться. Зависть и интриги кружили в наполненных тревогой стенах, предупреждая о том, что лучше всего быть осторожным и держать нейтралитет.

Далекому от интриг Павлу спокойствие давалось с трудом. Он то и дело строил догадки и планы, но испытывал одно разочарование за другим. Ведь он поверил поначалу, что новое политическое мышление науки коснется в первую очередь! Однако через некоторое время сотрудники стали увольняться, послышался ропот даже с той стороны, которая всегда считалась привилегированной и успешной. Обычные инженеры, занимающие должности подобные Павловой, начали высказывать вслух:

– Никому мы тут не нужны, – вздыхали энтузиасты, но по-прежнему погружались в расчеты.

– Крысы! Им бы только набить мошну. – И уходили искать лучшей жизни, бросив заявление на стол.

– Мы теперь даже не рабы, мы хуже бездомных собак! Нам и костей-то не бросят с барского-то плеча! – говорящие так нагнетали тревогу и неприязнь. Они тоже куда-то бежали, пропадали бесследно.

Однако Павлу потребовалось еще несколько лет, чтобы и он принял решение уйти.

Наскоро выбранные бухгалтерские курсы длились три месяца, всем учащимся гарантировали трудоустройство. Поиск быстрых выгод казался абсурдным, но внешняя жизнь утверждала обратное, и Павел пошел на эксперимент.

«Не в науке, так в жизни», сказал он себе, и теперь морщился от несмолкаемого гомона окружающих женщин. «Проводочки, проводочки!», – умоляли суетливые дамы преподавателя, и студент Прелапов терпел этот щебет с трудом, но педантично записывал каждое слово, как ни странно, находя удовольствие в новом занятии.

Он принял угрюмое решение отныне приносить пользу самому себе, раз осчастливить человечество, сказав свое слово в науке, ему не удалось. Похоже, теперь он сможет зарабатывать, а значит рано или поздно найдет и те книги, которые его интересуют. В этом Павел не сомневался, продолжил учебу и оказался прав.

Он дослужился до заместителя генерального директора не крупной, но устойчивой фирмы и остановился. В борьбе за победу его вполне устроила вторая тумба: денег достаточно, риска меньше. Павел точно знал, что с новой специальностью попал в яблоčko. Теперь о «проводочках» ему было известно все. Финансовые экзерсисы оказались куда интереснее, чем бесплодные мечты о событиях, ни одно из которых не зависело от него самого.

Теперь Павел словно в руках держал, бережно перебирая, аорты живых существ, позволяя денежным потокам подобно крови напитывать их центры и их периферию. Он знал траекторию каждого сосуда и получал удовольствие, осознавая причины, по которым менялся состав этой «крови», когда она наполняла вены предприятия, где Павел служил. О людях ему теперь тоже было известно намного больше, чем прежде. А о своей первой специальности в кругу сотрудников он помалкивал и без необходимости личных карт не открывал.

Ему нравилось превращать крепкую организацию в юркую невзрачную мышку, недоступную зубам алчных бюстителей государственной казны. Теперь Павел преуспевал и гордился тем, что вовремя сумел найти свое истинное призвание. Однако он поддерживал отношения с прежними коллегами, следил за публикациями и время от времени, открыв компьютер, подолгу записывал свои соображения в папку на рабочем столе.

Мысль о том, чтобы заняться психологией, пришла Павлу еще в детстве. Владимир Иванович, батя, вот кто нечаянно подтолкнул его к профессии, благодаря которой он стал своего рода серым кардиналом.

Не только аорту родной фирмы знали руки Павла. Ему доводилось прикасаться и к другим серьезным финансово-сосудистым системам. Он получал удовольствие, демонстрируя мастерство верхоушкам этих систем, и они утверждались в своей устойчивости и желанной внешней невзрачности. Павел же в ответ, по выражению Маши, «шлифовал породистую бородавку», укреплял так необходимую ему, и так сильно поблекшую за последний год уверенность, что он сам хозяин своей судьбы.

Конечно, с установками веры это утверждение совсем не совмещалось. Зато гарантировало устойчивость. Поэтому Павел на подобные темы с Владимиром Ивановичем не говорил. Семья была обеспечена достойно, даже сам неприхотливый батя после долгих уговоров перестал пользоваться метро, пересев за руль скромного автомобиля. Мечталось, конечно, подарить тестю серьезную машину, но тот восстал категорически.

– Священнику не пристало, Паша, сколько голодных можно накормить за эти деньги, которых стоит такая машина! Моему сознанию недоступно, какая радость иметь что-либо, когда рядом нужда. И если уж ты так настаиваешь, сынок, то мне достаточно «Жигулей».

Пришлось подчиниться, тем более что Павел и сам не склонен был пускать пыль в глаза. Теперь он крепко стоял на ногах и, если бы не болезнь жены, мог бы считать себя вполне удовлетворенным судьбой. Но как же хотелось ему поскорее дожидаться обещанных вечеров с батей, поговорить с ним обо всем на свете, послушать его неторопливые рассказы о том, что в обычную жизнь никак не вмещалось. Но и не отпусало.

Прежде возможностей для бесед у них было значительно больше, и к лучшим из них Павел причислял те встречи, когда он молчал, а Владимир Иванович вслух размышлял о вопросах веры. Случались изредка и другие темы, и теперь, по прошествии стольких лет, Павел с горечью думал о том, что батя давным-давно пытался проникнуть в будущее...

Однажды, и это случилось еще до свадьбы, он спросил Павла о ясновидящих.

Бережковы в тот день приехали в гости к Прелаповым праздновать Первомай. Нина Дмитриевна была непривычно покладиста, а Маша задумчива и молчалива. Павел только что уволился из университета, перешел в лабораторию, и наполнялся раздумьями о будущей карьере.

Ранняя весна уже приукрасила ветки деревьев салатным флером, распустила по округе свою душистую истому. Форточки на окнах старого дома открыли и закрепили их скрученными бумажками, засунутыми в пазы. Наступали сумерки, а воздух все еще струился теплый, напоенный сгущенным ароматом множества новорожденных листьев и вздувшихся смоляных почек.

Нина Дмитриевна позвала Машу в кухню.

– Поможешь мне перемыть посуду? А потом накроем к чаю. Дверь за ними закрылась. Павел отвлекся от мыслей о работе и только собрался воспользоваться недолгим уединением с Владимиром Ивановичем и спросить о делах в храме, как тот его опередил.

– А вот скажи мне, – заговорил он, прищурившись, – что должен такого проделать над собой человек, чтобы его сознание изменилось, чтобы он обрел способность провиденья? Последнее время я постоянно натываюсь на различные разговоры об этом и поневоле задумываюсь сам. Как психолог, ответь!

Павел физически ощутил, как чувство комфорта покидает его, но нужно было отвечать. Он подумал о том, какие странные вопросы интересуют Машиного отца. Нежизненные, несерьезные вопросы.

– Что нужно? – Владимир Иванович тем временем рассуждал вслух. – Максимально общаться с разными людьми? Выслушивать и анализировать многих? Но так живут тысячи, однако прозрения у них не наступает. Что говорит наука, Паша, скажи?

– Был такой философ немецкий Эдмунд Гуссерль, – начал нехотя Павел, решив воспользоваться прочитанным недавно сборником статей «самиздата», который по случаю передал

ему бывший соученик, – так вот он считал, например, что для расширения «я» даже не обязательно соприкасаться с реальностями других людей...

– Расширение «я»? Любопытно, любопытно! – Владимир Иванович возбужденно сосредоточился. – Так что же? «Соприкасаться с другими реальностями», это что ты имеешь в виду?

– Не обязательно осуществлять реальный контакт, психофизический опыт. Вообще не обязательно взаимодействовать. – Возвращаясь к терминам и определениям вне рабочих стен, Павел вечно чувствовал себя не в своей тарелке, словно надевал костюм с чужого плеча. – Достаточно исходить из собственной внутренней жизни...

– То есть, ты хочешь сказать, что это по силам только отшельникам? Но как? – Владимир Иванович собрался было сказать что-то еще, но себя оборвал.

– Понимаешь, батя, – Павел поводил глазами и остановил взгляд на герани, которой всегда доставались его раздумья. – Возможно же проследить интенциональность своей собственной жизни, эту способность сознания быть направленным на некоторый предмет. Тогда, считал Гуссерль, сохраняется феномен непрерывности опыта, и он связывает одного субъекта с другим. Человеческое «я» в этом случае способно вжиться в сферу другого «я», вчувствоваться в него... Оно выходит за пределы себя самого и соединяется с любым другим во всех возможных коммуникациях.

– Подожди, подожди! – Владимир Иванович поднял руку. – Никак не возьму в толк... Значит, все же нужно оставаться среди людей?

– Думаю, Гуссерль имел в виду все же людское окружение, но в некотором роде отстраненное, – кивнул Павел. – Я представлял, когда читал об этом, что так же одно «я» может проникнуть и во множество других «я», не только в единичное. А вот сейчас я подумал, что этим вполне можно объяснить и способности ясновидцев. Почему нет? Гуссерль считал, что психология обязана анализировать «очищенные акты сознания», обязана выносить за скобки «предметную сущность объекта».

– Каким образом? – Владимир Иванович кивнул.

– Вот этого он как раз и не объяснил, – Павел развел руками. – Но мы вправе предположить, что такие способности имеют далеко не все люди, а те именно, кто от природы наделен талантом раскрытия своего «я» для проникновения в него окружающего мира. Как-то так...

– Интенциональность? – Владимир Иванович тогда привстал даже, но снова сел. – Ты, Паша, запиши мне эти слова. А статьи, на которые ты ссылался, не дашь ли прочесть? Мне глазами воспринимать проще...

Павел тогда пообещал, и в это время разговор прервался. Вернулась мать с горой посуды, за ней с носатым чайником Маша, и все уселись пить чай.

Павел спрашивал себя потом, что же так сопротивлялось в нем всякий раз, если разговор о его специальности заходил среди родных, но внятного ответа получить не мог.

«Да не мое это было, – в конце концов сказал он себе, – не собирался я эти знания применять, не верил вообще, что их можно где-либо в жизни применить».

Он назвал свою первую специальность «полезной ошибкой молодости», на чем и успокоился. С тех пор довольно долгое время попытки Владимира Ивановича поговорить о психологии Павел мягко обходил. Ему куда приятнее было послушать о том, что науки никак не касалось, но стояло незыблемо и позволяло на себя опираться каждому, кто этого искал. Теперь он уже был не прочь и сам рассказать о чем-то, но ожидание батиных откровений все же действовало необычно на Павла.

«Как на ребенка приближающийся Новый Год», качая головой, думал он.

Машина болезнь сильно повлияла на здоровье Владимира Ивановича, и при встречах завести с ним какой-либо серьезный разговор у Павла просто не поворачивался язык. Но ведь именно теперь и возникли эти неотвязные вопросы о смысле жизни, или может быть о бессмысленности ее.

...Пусть поскорее мать уезжает в свой Египет! Павел представлял себя рядом с тестем, их вечера вдвоем, когда Маша уже спит, и никому никуда не надо спешить. Конечно, оставалась опасность, что старик увидит в дочери то, что в короткое время встреч заметить не успевал. Но вдруг это не покажется ему таким уж страшным, вдруг он и так уже понял, смирился, знает выход... Тогда можно будет наконец расслабиться хоть немного и позволить ему, старшему и надежному, пусть на несколько вечеров взять на себя ответственность за все, что произошло у Павла в судьбе.

Телефонный звонок на минуту отвлек от раздумий.

– Паша! Ты свои бутерброды забыл!

– Не волнуйся, ма, – ответил Павел, выезжая на Третье транспортное кольцо, – я их оставил. Сегодня во второй половине дня я буду у партнеров, а там другие перекусы.

– Нет, а тогда зачем ты их нарезал? И я никогда не поверю, что ты забыл о партнерах!

– Маша спутала утром все карты, ма. И почему я не могу о чем-нибудь забыть, я же не киборг. Не волнуйся ты из-за ерунды, а? Целую!

– Конечно, ты не киборг. Отнюдь! Киборг у нас я, это всем известно. И что может теперь спутать Маша? Поешь обязательно и не спорь. Целую!

Кто спорит? Павел отключил связь, подумал, что его женщины на редкость своенравны, перестроился и – «Ну, куда ты лезешь? Куда лезешь? О, простите, сударыня, шляпка, пальчики, колечки...» – влился в поток.

Он практически не смотрел по сторонам, боковым зрением замечая на дороге малейшее отклонение от того, что считал нормой.

Не только вождение, многое в жизни теперь шло на автопилоте, Павел полагал, что виной тому солидные годы, которых он достиг, ведь в этом сентябре ему уже исполнилось сорок. По его мнению, возраст неизбежно должен был гасить эмоции, оставляя только клише, привычные реагирования в привычных местах, выравнивая намерения и выглаживая контуры упований.

Примером тому служила мать. И хотя внешне Нина Дмитриевна менялась незначительно, но все же перемены происходили, и Павел понимал: надежд на что-то личное у нее давно не осталось. Она тоже вершила свои дела на автопилоте, отвечала машинально, даже позы принимала механически, как машина, заведенная однажды и обреченная работать, замедляя ход, до полной остановки.

Павел думал, что знает мать как облупленную. У нее на каждое слово «нет», все наперекор, как у подростка, а уж в общении с Владимиром Ивановичем, так вообще до бреда. Правда «перекоры» больше на словах, ворчит, ворчит, но все же прислушивается и в последние годы перечит не так явно. Это как раз подтверждало изобретенную Павлом теорию автопилота, которым управлялись стареющие люди, не имеющие впереди никаких реальных ожиданий. Раньше мать перечила, настаивая на своем, а теперь, считал Павел, говорит «нет» по привычке. Она бы, скорее всего, растерялась, если бы вдруг к ее протестам отнеслись серьезно или не дай бог прислушались. Ее вечные «нет» стали теперь безопасными для нее, и она – Павел был абсолютно уверен, – об этом в глубине души знала.

Маша всегда самовыражалась иначе, она обычно не бунтовала, только, – Павел осмыслил это сравнительно недавно и в сотый раз поздравил себя с «профессиональной прозорливостью» – не зажигалась она, или не открывалась, или... Маша не отвечала, хотя и говорила «да», не включалась, хоть и поднимала глаза, кивала. Так мог бы себя вести человек, безупречно вежливый, но далекий от всего, кроме своих потайных интересов. К примеру, инопланетянин, успешно мимикрирующий под аборигена, – хмуро подтрунивал над собой Павел. В редкие минуты ему казалось, жена даже в постели оставалась невзятой, все равно витала своей нездешней душой где-то в неведомых далях, которыми телу не овладеть, хотя внешне придраться было не к чему.

Но это как ледяной град, мысли такого рода накатывали на Павла внезапно и не вовремя, отравляя лучшие минуты жизни. По прошествии стольких лет, – психология, психология! – Павел понял, что никогда по-настоящему не знал своей жены. Она, как это было в детстве, так и осталась в стороне ото всех, словно окруженная надежной невидимой субстанцией, самодостаточная еще до этой проклятушей собаки – как до болезни, так и после.

Протест это был или же просто неспособность жить в стае, для Павла теперь значения не имело. Попытки размышлять о характере Маши приводили его в такое скверное и беспокойное настроение, что однажды мелькнула мысль: он как и прежде оберегает себя от какого-то слишком тяжелого для него откровения. Тогда Павел принял решение, и думать себе на эту тему запретил. Тем более, и так получалось по всему, прежней Маши у него больше не было.

Хотя они с матерью и делали вид, что рядом с ними по-прежнему живет разумный человек. Случались, правда, проколы, как сейчас: «Что теперь может спутать Маша»! Но это возражение, понимал Павел, он, не желая того, спровоцировал сам, а мать на провокации ловилась запросто.

Нина Дмитриевна представлялась своему сыну человеком, не способным вести беседу. Реплики, короткие тирады и отповеди, практически никаких компромиссов. Но теперь она уедет, и – будь что будет – до ее возвращения останется время, когда разговор, обычный человеческий разговор, по которому в быту так тосковал Павел, наполнит наконец их нелепый одинокий дом. А то, что мать вернется усталой, Павла не пугало.

Он понимал, она выживает именно борьбой: со своей усталостью, возрастом и неисправным автопилотом, на котором уже много лет движется в другую сторону от истинных желаний.

Глава третья.

Прогулки по прошлому и звездочка Павлова колодца

В молодости Нина Прелапова была немногословна и могла бы показаться забитой, если бы не глаза: черные, как жуки, которые, казалось, вот-вот с жужжанием взлетят, да и сядут в середину лба собеседника. Только на склоне лет Нина более или менее научилась общаться, — когда завершилась перестройка, хлынул поток литературы и многое из того, что прежде считалось неоспоримой истиной, оказалось сначала спорным, а чуть позже и вовсе постыдным.

Трудно было смириться с ударом такой мощи, Нина Дмитриевна заикалась от растерянности и возмущения, подыскивая никем не подсказанные слова и ни в чем не находя для себя опоры в новом незнакомом мире. Она словно полностью забыла родной язык и теперь заново училась говорить. Нежданной проблемой и горечью обернулся для нее парадокс специальности, которая, казалось бы, должна была прежде всего общению научить.

Всю жизнь Нина Дмитриевна проработала учительницей русского языка и литературы в школе.

Ей приходилось много говорить, однако это говорение никакого отношения к общению с людьми не имело. Все было расписано, просчитано и заранее известно: на какие вопросы как именно отвечать, какие направления игнорировать, уроки велись «по нотам» единожды сочиненных мелодий, как, впрочем, и выступления на родительских собраниях, реплики в учительской и думанье в одиночестве: Нина в своих размышлениях также не выходила за рамки, указанные партией и правительством, поэтому неотвеченных вопросов у нее в принципе не возникало.

Говорить приходилось много, и она часто сипла, теряла голос, тогда даже немногие слова, обращенные дома к сыну, произносила шепотом. Маленький Паша не сомневался: маме нужно как можно больше молчать. Он почти не нарушал этого правила и обращался к матери разве что по очень важным вопросам, среди которых был один чрезвычайно важный.

За первые пятнадцать лет своей жизни Павел всего два раза задал маме свой главный вопрос: куда подевался его отец и кем он был.

Это терзало, лишало покоя, но окружающие, как сговорились, хранили молчание. Тогда Павел подступал к матери, но оба раза Нина Дмитриевна реагировала одинаково: глаза ее улетали, но вовсе не черными жуками, а как истерзанные ударами бильярдные шары в лузу, и, будто она на долю секунды теряла сознание, лицо делалось беспомощным, дальше же ничего не происходило. Словно вопроса не было, словно не сидел напротив сын, не смотрел и не ждал.

Словно эта тема его судьбы не касалась.

На любые другие вопросы Павел мог найти ответы самостоятельно. Для этого существовали книги, приятели, знакомые взрослые и просто жизнь, которая располагала к раздумьям. Но здесь получалось уравнение со сплошными неизвестными. И тогда, как по озарению, он начал вспоминать и рассуждать. Словно по винтовой лестнице Павел опускался в глубокий колодец догадок и предположений, а со дна этого колодца уже манила его теплым светом звезда с дивным именем «Батя», и ничего более желанного в жизни Павла не было.

Бревна Павлова колодца походили друг на друга крепостью и убедительностью.

Все праздники Прелаповы и Бережковы встречали вместе. Если Нина Дмитриевна или ее сын заболевали, первым на помощь приходил дядя Володя — нежный, заботливый и внимательный, каким, по мнению Павла, мог быть только родной человек. Нина Дмитриевна порой могла вести себя безучастно, а порой нелюбезно и даже резко: «Прекратите хихикать! Оставьте эти ваши глупые игры!», а Владимир Бережков любые детские выходки сносил безропотно и внешне даже не удручался.

Павлу оставалась неделя до пятинадцатилетия, когда он свел свой первый в жизни баланс: соединив все «за» и «против» окончательно уверился, что именно дядя Володя – его родной отец. Только этим он мог объяснить бесконечное терпение того к матери и заботу о нем самом.

Свои дни рождения отец и дочь Бережковы отмечали в храме, по воскресеньям священник служил, Павел время от времени приходил на литургию тоже, но перед матерью своей причастности не афишировал. Ему хотелось быть рядом с отцом Владимиром чаще, но Нина Дмитриевна церковные церемонии не одобряла, однако с подросшим сыном не ссорилась, просто каждый раз от предложения сходить в церковь отказывалась и делала это одинаково: «Оставь, Паша, столько дел! Тебе-то это с какой стороны? Нет, я имею право на отдых?» Если какая-то праздничная дата Прелаповых падала на воскресенье, застолье переносили, чтобы Владимир Иванович с Машей могли прийти в гости и по традиции отметить этот день вместе. Павел не помнил ни одного своего дня рождения, на который бы отец Владимир не пришел, и тот не просто являлся, а сотворял настоящий праздник с сюрпризами, шарадами, викторинами.

«Как же мне это раньше в голову не пришло, ведь черным по белому, что так стараться можно только для родного сына! И конечно же для нее... Это же ясно, он ее любит, иначе кому придет в голову столько терпеть!» – Павел словно озарился, и ему показалось, он дотянулся руками до своей звезды. Реальность отодвинулась, раздробилась и обернулась лавиной гремящих эмоций, Павел получил в школе тройку по истории, а на следующий день по геометрии, замечание в дневнике за рассеянность на уроке и за измалеванные крестиками листы классной тетрадки. Ему хотелось бежать к своему дяде Володе немедленно, он облизывал пересыхающие губы, не находил места и никак не мог заставить себя вернуться к занятиям.

По мнению Павла Прелапова, все в судьбе матери и его личной судьбе, теперь сошлось, сомнений не оставалось, и это означало только одно: бесконечное счастье!

«Мало ли что там у них когда-то произошло, – волнуясь, рассуждал тогда он. – И, конечно, они не скажут! Он же священник!.. Но одно дело молчать, а другое соврать, вот мама и не говорила, только все тряслась, боялась: я догадаюсь и получится, что она опозорила его сан», – тут Павел мерил по себе, обманывать ему было омерзительно, он всегда говорил правду, если его спрашивали напрямик.

Но если не спрашивали, а признаваться не хотелось, мог так ничего и не сказать, ложью это не считая.

«Значит, если я спрошу, – рассуждал он дальше, – дядя Володя, нет, батя! меня обманывать не станет. Он увидит, что я никого не осуждаю, и обязательно скажет правду. И мама больше не будет жить в страхе! Хотя они и не смогут пожениться», – даже это не удручило, и Павел решил поставить вопрос ребром.

Через два дня после пятинадцатилетия, в субботу, Владимир Иванович с Машей пришли в гости к Прелаповым. Нина Дмитриевна по традиции испекла торт, – песочные коржи переложила грецкими орехами, перетертыми с сахаром и изюмом. Сверху это роскошество посыпалось сахарной пудрой, а по центру – мелкими крошками коржей. Детям крепкий чай не наливали, а в чашках у взрослых он был объемным, янтарным с красноватым отливом. В комнате пахло заваренной мятой. Младшие доедали уже по второму куску торта, Владимир Иванович подшучивал, загадывал загадки, Маша ничего не могла отгадать, а Павел отгадывал, но выглядел надутым, и мать довольно резко спросила его, в чем дело.

– Ни в чем! – Ответил он слишком громко и «пустил петуха». Маша засмеялась неизвестно чему, вскочила и пошла вприпрыжку вокруг стола. Павел не знал, как называется этот прыжок, но замечал, девочки часто так скачут. Подпрыгнут на одной ноге коротко и на ней же словно немного назад отъедут. Потом точно так же на другой ноге, отчего чуть-чуть переместятся вперед. По мнению Павла в таких прыжках не было никакого резона, и вверх не особо

отрываются, и вперед продвигаются еле-еле, а лица у всех до того довольные! Он так это и называл: «Скакать по-девчоночьи».

Сейчас, взглянув на Машу, почувствовал себя взрослым мужчиной и слегка приободрился.

– Может, еще чаю? – Нина Дмитриевна улыбнулась прыгающей Маше, та споткнулась, рассмеялась и уселась переплести косу.

– Принеси кипяточка, Нина Дмитриевна, – улыбнулся Владимир Иванович. – Молодежь, кто со мною на чай отважится?

Дети помотали головами, Маша справилась с косичкой и снова запрыгала.

– Попрыгунья стрекоза, – с выражением начал Владимир Иванович, но Прелаповы запротестовали хором.

– Нет, Машка не стрекоза! – Нина Дмитриевна с Владимиром Ивановичем соглашалась редко.

– Стрекоза была тунейдка! – по привычке защитил маленькую подружку Павел.

– А я когда в школу пойду, буду на одних пятерках! – объявила Маша, которой уже исполнилось семь.

– Ай, молодец! – Владимир Иванович покачал головой. – Только что, если не сможешь? Разве можно зря обещать?

– Смогу, смогу! – Маша махала руками, прыгала и сопела. – А потом я вырасту и буду веретинаром!

– Веретенном? С самой собой на пару? – очень серьезно, даже трагично уточнил Владимир Иванович, но глаза его смеялись.

– Мой язык запрыгался! Ве-те-ри-на-ром! – остановилась Маша, посмотрела серьезно и тут же пошла вскачь снова. – И буду звериков лечить, котовичей и собакиней, птичичек-невелечичек!

Павел встал из-за круглого стола, нарядженного чашками из белого в синий бутон сервиза, и отошел ко второму окну. На широком облупленном подоконнике, застеленном посередине салфеткой в искусных мережках, как раз расцвела герань. Павлу нравился ее резкий запах, ему казалось, что этот цветок заводят люди, знающие толк в домашнем уюте, и он гордился маминым вкусом.

Накануне, пытаясь представить, как задать заветный вопрос, он понял, что другого такого случая может и не представиться. Маша хохотушка и егоза, рядом с ней ни минуты тишины не бывает, и Владимиру Ивановичу тоже палец в рот не клади, у него рядом с дочерью одна шутка за другой. «Не дадут они мне даже минутки», – тревожился и вздыхал Павел.

Он решил запиской вызвать гостя на разговор и написал: «Дядя Володя! Мне нужно спросить у вас что-то очень важное. Поклянитесь, что скажете правду! Паша». Сейчас он достал из кармана штанов записку и держал ее в руке, обдумывая, как бы вручить.

Владимир Иванович заметил, что Павел погружен в себя, кивнул вопросительно Нине Дмитриевне, но та пожала плечами, подхватила длинноносый эмалированный чайник и отправилась в кухню.

– Что-то ты невесел, Паша. Думается мне, может набедокурил на улице? Или в школе проштрафился? – Владимир Иванович задал вопрос шутя, всем было известно, что Павел Прелапов – парень серьезный.

Растирая в пальцах листок герани, Павел подумал, что ответить ему на это подстрекательство нечего, зато если промолчать, возможно Владимир Иванович подойдет к нему сам. Выдался как раз подходящий момент: Маша немного утихомирилась, и, болтая ногами, снова переплетала косу, мать из кухни еще не вернулась и скорее всего сразу не вернется. Вечер, соседи дома, в кухне народу полно, она вполне может там остаться и ждать, пока освободится конфорка.

Владимир Иванович действительно подошел и встал рядом. «Точно он мой родной отец! Просто как пить дать! – уверился Павел, и сердце его в который раз кувыркнулось. – Я же все про него знаю! Даже то, что подойдет, знал! И мать разве стала бы с чужим человеком так громыхтаться? Что ни слово ему, все поперек, прямо песочница-конфетница, а не взрослая тетенька!»

– Отрежу противные косы наголо, раз они не плетутся, отрежу, отрежу, – заворчала, запричитала Маша, – буду тюлеником голеньким, гладеньким, шоколаденьким!

«Гладенького тюленека» из голой и лысой Маши точно бы не получилось, тоща была, угласта, ни одной округлой линии.

Павел резко развернулся, встретился глазами со старшим гостем и побледнел. Снова показалось, что другого шанса не представится никогда. От волнения у него слегка закружилась голова. Владимир Иванович смотрел с тревогой.

– А давайте в лото? – Маша подбежала к столу, схватила кусок сахара, впопыхах перевернула сахарницу, и ее содержимое выпало на скатерть. – Я чушка-хрюшка, я свинка-черноспинка – блестящая щетинка!

Нина Дмитриевна вернулась с чайником и тут же стала собирать кусочки сахара на блюдец.

Павел сунул записку в руку Владимиру Ивановичу и теперь от волнения побагровел: «А вдруг он начнет читать ее прямо сейчас?»

Но священник Владимир Бережков повел себя иначе. Получив послание, он посмотрел поверх Павловой головы, повернулся и направился в коридор. Комната у Прелаповых большая, тридцатиметровая, проходя ею, Владимир Иванович успел улыбнуться Нине Дмитриевне и поцеловать дочь.

– Пап, ну давай в лото! Давай! Давай! – распелась Маша вслед. «Папа»! Павлу тоже хотелось прямо сейчас сказать «папа» этому самому лучшему человеку на свете! Шаг в желанную сторону он уже сделал, теперь осталось улучшить момент, задать вопрос и услышать, наконец, долгожданное «да». Но сейчас казалось, время остановилось и разбросало вокруг себя бесвязные картинки из разных жизней.

Занавески на окнах двигались как живые, с улицы доносились голоса детей. Комнату заливал свет, в нем медленно кружились пылинки. Маша, что-то бубня под нос, маленьким зеркалом пускала солнечных зайчиков, и они перетекали, подрагивая, с цветастых стен на этажерку, с комода на буфет, с потолка на репродуктор у кровати.

Павел изо всех сил делал вид, будто ищет что-то в ящике письменного стола, хотя приоткрываясь ему в этот момент было не перед кем. Мать ушла полоскать сахарную тряпку, Владимир Иванович еще не вернулся.

Наконец он вошел, кивнул Павлу ободрительно, затем словно невзначай оказался рядом. И вот уже записка перекинулась обратно, а Павел понесся в коридор, чтобы прочесть ее в одиночестве.

Туалетную комнату кто-то занял, но, к счастью, свободной осталась ванная. Павел предпочел бы туалет, там можно было какое-то время отсидеться, а в ванную мать уже через пять минут постучит, потому что делать там сыну среди бела дня совершенно нечего.

Он закрыл дверь на крючок и развернул свернутую бумагу. На ней карандашом было написано: «Клясться не буду, потому что сказано: „Не клянись“. Правду, если знаю, скажу. Приходи ко мне в храм в понедельник после школы. Отец Владимир».

Прежде Павлу не доводилось переписываться с мечтанным своим дядей Володей, и эту подпись – отец Владимир – он воспринял как добрый знак.

Вчетвером они играли в лото. Павел больше не казался удрученным. Он ерзал, шумно вздыхал, то и дело пропускал свои бочки, и мог бы стать мишенью для шуток, но мать неожиданно разговорилась о грядущем переезде.

Их дом шел на слом, Прелаповы вот-вот должны были получить отдельную квартиру поблизости. Нина Дмитриевна уезжать далеко от школы, в которой работала, не хотела категорически, и согласилась на совсем маленькую квартирку, зато тут же, рядышком, на улице Гарибальди. Владимира Ивановича она открыто просить о помощи не стала бы ни за что и завела разговор о переезде словно невзначай. Он тут же все понял, и теперь они оба больше на детей внимания не обращали, обсуждали, как экономнее упаковать скарб, а в лото играли механически.

Павел понемногу успокоился.

Он с трудом дождался понедельника и, едва уроки закончились, бегом отправился по адресу.

Храм стоял безлюдным. Но едва Павел вошел, священника позвали, тот появился в под-
ряснике, провел гостя в трапезную, сам налил и поставил перед ним тарелку постных щей.

– Поешь.

В некотором возрасте нервотрепка на аппетит не влияет, суп исчез. Павел вытер рот, убрал руку под стол и напряженно рассматривал пеструю протертую клеенку. Прибежала Маша, но ее тут же выдворили в светелку.

– Знаешь, – ободрительно начал отец Владимир, – У меня тоже были вопросы, которые я мог задать только кому-то очень близкому. У тебя, вон, мама не оратор, больше молчит, кого тебе спросить? А моя мать любила поговорить о жизни, она о многом рассказывала, хоть мне и приходилось подчас дорого платить за ее откровения. – Он улыбнулся. – И батюшка знакомый у меня был, к нему я шел с главными ожиданиями, он объяснял то, чего мама не знала. Так что я в отрочестве быстро дорогу нашел. Правда, потом пришлось побороться, чтобы устоять. Очень я был обидчивый, гневливый. Чуть что, вскидывался весь...

Отец Владимир говорил спокойно, словно он сам давно ждал этого разговора и теперь собирался говорить долго.

– Почему «дорого платить за откровения»? – вернул его Павел назад. Он чувствовал себя так, словно ему предстояло с большой высоты прыгнуть в ледяную воду.

– А она, – снова улыбнулся священник, – если со мной такие разговоры начинала, то по всем моим косточкам проходила, все мои недостатки вспоминала и из них же делала примеры. Или вот по капельке заставляла меня до смысла доходить.

...Владимиру Ивановичу вспомнился один из вечеров, когда его мать пришла с работы, подала ужин, и они уселись за стол, сервированный как к празднику. Зоя Васильевна всегда украшала жизнь, каждую минуту украшала, чем могла, – мелкими, незначительными вещичками, словами, сказанными к месту, поддержкой. Володя сидел за столом и хмурился, жуя котлету и заедая размятым вилок картофельным пюре.

– Что за настроение, сын мой? – спросила наконец Зоя Васильевна. Она любые нелады замечала сразу, но с вопросом могла и потопить, как сделала на этот раз.

– Да контрольная завтра, мам. По математике. Не напишу я ее. – Володя не стал растягивать игру, ответил сразу.

– Повторяй это почаще вслух, судьбой станет! – немедленно отозвалась мать, прищурилась.

– Не смогу я ее написать, точно не успею ничего, – жалуясь, сын всегда надеялся на поддержку, которую тут же и получал.

– Ты вот мне скажи, – мать склонилась к светлой макушке. – Тебе это нытье зачем? Оно тебе что дает? Почему ты не готов, спрашивать не буду, мне это даже не интересно, а вот для чего ноешь, тебе и самому узнать полезно было бы. Как, – Зоя Васильевна настойчиво потрепала сына за волосы, но тут же сбавила накал, погладила слегка, – есть ответ на вопрос? Мысли озаряют или мы мужественно скулим в потемках? – и засмеялась тихо.

– Ну... – Володя очень любил эти игры. Он опустил голову вниз, чтобы не показать улыбки, чтобы мать еще побыла рядом. – Может быть, я хочу, чтобы ты мне сказала, что я все успею...

– Ага! – Зоя Васильевна кивнула и отстранилась немного, словно хотела посмотреть на сына со стороны, но тут же снова приблизилась, встала ровно. – Я тоже так думаю. Тогда пошли дальше. А это тебе зачем?

– Ну... Потому что ты потом скажешь, что у меня хорошая память, что я посижу пару часов и буду все знать на пятерку...

– Правильно. И я так думаю. – Мать теперь слегка похлопывала сына по плечу. – Ну, а это зачем? Или сам не знаешь, что можешь?

– Потому что тогда ты меня похвалишь. Я же сам не могу себя похвалить, – тяжело вздохнул Володя и скроил притворно-скорбную физиономию, поднял лицо вверх. – Человеку может быть важно, чтобы его похвалили...

– Умница моя! – Зоя звонко чмокнула сына в щеку. – Молодец! Все знаешь, все понимаешь, а чего не знаешь, то как раз сейчас и выучишь! Ну что, похвалила я тебя? Теперь не подведешь?

– Ага, – совершенно материнским тоном согласился Володя и слегка прижался щекой к ее руке. – Похвалила. Я не подведу, мам!

– И я тебя не подведу, – Зоя тогда вздохнула и отошла, села на диван, взяла книгу. – Не подведу. Не подведу...

Улыбка померкла на лице мальчишки, Володя понял, что мать говорила об отце. Не подведет, значит, не умрет, не оставит его...

Владимир Иванович вздохнул и, с твердым решением не подвести Павла, вернулся к рассказу:

– Она считала, что так мне понятнее будет. Она вообще заводная была, энергичная! Представь: когда стирала, я всегда думал: «Как это у нее в кровь пальцы не сдираются?», так она гремела доской по корыту. Вот и я у нее, как стиральная доска, за каждый свой вопрос ходуном ходил. Назиданья никакого, а примеров могла привести множество. Соответственно между нами не было недосказанности.

Павел напрягся так, что чуть не выдавил обратно съеденный суп.

– Дядь Володь, – сглотнул. Сейчас он не мог поднять на священника глаз. Показалось даже, что посмотрит и заплачет. – Я спросить хотел. Знаю, что знаете!

– Спрашивай, сынок.

До слез осталось всего ничего, одно словечко. У Павла задрожали руки, под столом он сжал кулаки и впился ногтями в ладони.

– Мама мне не говорит, хоть я спрашивал сто раз. Два раза. Скажите. Я хочу знать, кто мой отец? То есть, если это вы мой отец, то я...

Выдержки не хватило, слезы потекли сами, Павел вытащил кулаки из-под стола и, не разжимая рук, вытер глаза.

– Вон оно что! Ах ты, Господи! – Порывисто вздохнул Владимир Иванович, готовый к чему угодно, только не к такому повороту. Подвел парня, подвел, а ведь обещался не подвести! Он вскочил, подошел к Павлу, обнял, отодвинулся, прошагал туда и обратно небольшое помещение трапезной дважды. Священник двигался слишком поспешно, даже суетливо, Павел почувствовал это и внезапно необъяснимо для самого себя понял, что ошибся, и все не так, как рисовалось в мечтах.

Мир качнулся. Звездочка выпала из рук в темную студеную воду и медленно гасила лучи где-то в глубинах Павлова колодца, из которого теперь ему предстояло выбраться на землю, но проще бы рухнуть вслед за ней и, пролетев сто дон, разбиться в осколки.

Владимир Иванович тщательно подбирал слова. Он не был отцом Павла и, как будто оправдываясь, рассказывал теперь, как с детства любил Нину Дмитриевну, как надеялся и звал ее замуж, и как она раз за разом отказывала ему. Как появился вдруг в ее жизни сильный и удалой пограничник, и как неожиданно для всех замкнутая Нина влюбилась. Говорил одно, вспоминал другое, давнее, скрытое.

– Сынок. – Зоя Васильевна вошла в комнату босиком, испачканные уличной грязью боты и туфли по привычке оставила в коридоре за дверью, и один бот отскочил от стены, черной кошкой бросился под ноги хозяйки. Она споткнулась, испачкала чулок. Наклонилась, выставила взбунтовавшийся бот вон из комнаты, сняла пальто, встряхнула от дождевых капель, попротерла: – Дай плечики, – и уселась растирать ступни в чулках непрозрачного бежевого цвета. Чулки у нее были всегда одинаковые и все с зеленоватыми пятками.

Володя поднялся из-за письменного стола, достал из шкафа вешалку, повесил тяжелое драповое пальто, разравнивал руками и водрузил на крюк у окна. Надо, чтобы просохло, рядом с батареей вернее.

Зоя Васильевна обычно и входила в дом шумно, и дела свои вершила азартно, с каждой чашкой как с живой разговаривала. Но в тот день она вела себя необычно, сидела, свесив голову вниз, все растирала и растирала ноги, оторвалась наконец от них, распрямилась, поморщилась и застыла.

– Мам, ты что? – Володя обеспокоился. – Ничего не случилось? У тебя вид, я даже испугался. Ты как себя чувствуешь, не заболела?

– Нет-нет, я нормально. – Заговорила тихо. – Спасибо, сынок. Ты вот что скажи мне, – Зое Васильевне как будто что-то мешало поднять на сына глаза, – ты Нину нашу Прелапову давно в последний раз видел?

Нине двадцать четыре, Володе двадцать семь. Дай ему волю, он бы каждый день с ней встречался, не расставался бы совсем, но не мил он Нине, вот и не идет к ней. То есть идет, конечно, но не так часто, как раньше, как ему хотелось бы. Нина стала учительницей – немногословной, категоричной. Она еще красивее, чем раньше, только теперь к ней на козе не поедешь, в помощи она не нуждается ни в какой. Да что там говорить, не нравится ей Володя Бережков!

– Месяца два наверно... А что?

– Месяца два. – Зоя Васильевна нахмурилась, подняла все же на сына глаза, посмотрела мельком, нижнюю губу прикусила немного, растянула щеки, подбородок поджала. – А какая она была тогда? В каком настроении?

– В неразговорчивом, как всегда. Да мы и не общались почти. Я приехал навестить, и... Возникло какое-то напряжение. Мне показало-сь, она не то, что общаться, видеть меня не хочет. И я ушел. А почему ты спрашиваешь?

– И ты с тех пор ничего о ней ни от кого не слышал?

– Да что случилось, мам?! – все это было совершенно не похоже на обычное поведение матери, и Володя занервничал не на шутку.

– Даже как и сказать-то тебе, не знаю. Да ладно, что уж там душу томить. – Зоя Васильевна спину выпрямила, хрустнула позвоночником, провела руками спереди, то ли по платью, его расправляя, то ли проверяя, как там ее собственное тело, не таит ли в себе нежданного сюрприза. – Нагуляла наша Нина, вот что случилось. С животом она, а мужа нет. Кто, что – ничего не знаю. Эх, Ленка ты моя Петровна, – с тоской, но как-то не по-доброму вспомняла Зоя Нинину мать, – что ж ты понаделала такого, подружка моя, господи, прости, а теперь поди в гробу ворочаешься... Володя не верил своим ушам. Он дернулся, закашлялся, сел, встал снова... Как же так? Нина беременна?! С животом? И замуж не вышла, и им, единственным близким своим людям, ничего о себе не сказала? Но этого не может быть!

– Почему же не может быть? – мать словно мысли его услышала. – Очень даже может, жизнь наша проклятая. Да и нет там мужа никакого. Нет вообще никого. Ты мне лучше скажи, что теперь делать будешь? Не чужая ведь, Нинка-то наша.

Володя смотрел на покрывало. Странно, почему он раньше не замечал этого сочетания вылинявшего рыжего и темно-коричневого, он вообще никогда не думал о том, какого цвета покрывало на диване, а оно оказывается неприятное, неприятное! Странно, мама всегда так следит, чтобы в доме было нарядно, а какое покрывало лежит, что же, не имеет значения?..

– Ты меня слышишь, сын?

Но у него сместилось чувство времени, он словно себя потерял. Ничего подобного тому, что случилось с Ниной, он не предполагал никогда, на миг показалось даже, что наступил конец света. Так значит, нет мужа? Но как же? Кто?!

– В себя приди. – Зоя Васильевна и сама очухалась, и сына на землю вернула. Так часто случалось, что она отвечала на вопросы, которых он задать еще не успел. – Не конец света. И ничего я не знаю. Выглядит она плохо, плачет. Но молчит. Только слезы текут, да отошала вся. Я ее на улице встретила. Ты бы поехал к ней, если, конечно, ты... Подожди! Не сегодня! Я хотя бы поесть дала... Куда...

Но он уже бежал по лестнице, перепрыгивая через ступени, натягивая как попало пальто. Нина плакала! Это значило, что он мог ей помочь!

Через много лет, когда уже ни единой эмоции при мысли о том, от кого был зачат Павел, у Владимира Ивановича не возникало, он вспоминал себя молодого, тогдашнего, надежды свои, которые не оправдались. И как положено священнику повторял: «Слава Богу за все!», тем более что помощи его Нина Прелапова и правда не отвергла.

...Владимир Иванович, заглянув в прошлое одним глазком и, не потратив на это больше мига времени, продолжал свой рассказ:

– Мне бы пойти на стадион, заняться спортом. Мышцы накачать, научиться говорить модные слова... Может, тогда она посмотрела бы на меня иначе. Но я себя не поменял. Я уже понял, где мое призвание, и хотел остаться в храме. Но от мамы твоей не отходил никогда, даже когда пограничник этот появился! Я все равно был рядом, и она меня не гнала. Друг есть друг, лишь бы замуж не звал, – рассказывал, будто сочувствуя сам себе, отец Владимир.

Павел слушал, как пограничник вернулся на свою заставу и погиб, как Нина померкла, глаза на людей стала поднимать еще реже, а вскоре родила. И как снова Владимир Иванович звал замуж свою любимую женщину, но по-прежнему получал отказ за отказом...

Оттого, что история его рождения ничем не отличалась от большинства, выслушанных от дворовых мальчишек – либо летчиками были их отцы, либо тоже пограничниками, и все обязательно героически гибли – Павла закачало, внутри то расплывались пустота и безмыслие, то, будто выкрики из зала, накатывало тяжелое смятение: «Все пропало, все!». Настолько лихо ему прежде еще не было.

А Владимир Иванович продолжал удручаться и искать выхода. Нужно было переключить внимание Павла, но как? Что могло бы сейчас вернуть его интерес к жизни, потрясти сильнее, чем потерянная мечта? Опытный исповедник терялся от сокрушенного вида мальчишки, которого любил.

– Зря люди говорят, совсем не всегда молчанье золото, подчас вовсе наоборот! – Священник взял Павла за руку, слегка развернул к себе. – Это получается просто народная глупость, а не мудрость вовсе. Какое ничтожное состояние, Паша, как же я мог столько времени молчать о том, что так тебя мучило. Как мог не догадаться сам! Мама у тебя с детства лишнего слова не скажет, я должен, должен был догадаться! Господи, любой опыт бесполезен, когда дело касается самого человека!

Павел наконец очнулся.

– Да ладно вам, дядь Володь, – на минуту вынырнул он из ледяной воды колодца, вдохнул и уже не погружался так глубоко, крепко держался за скобы. Не поднимался, но и не тонул. Новое потрясение уже поджидало, и вот он услышал то, о чем вообще никогда не знал и догадаться не мог.

Владимир Иванович рассказал, что отец Нины Дмитриевны, дед Павла, был дьяконом, а в священстве отец Владимир оказался еще и потому, что надеялся: любимая оценит этот шаг, они смогут стать ближе, раз у него и у ее отца одно и то же призвание. Ведь Нина вслед за матерью, так рано потерявшей мужа, всю жизнь тосковала об отце, которого в живых не застала...

– Ты понимаешь, Паша, что все, о чем мы говорим, должно остаться между нами? Священнослужителем был твой дед, и страхи мамы объяснимы. Ее мироощущение наверно еще в утробе сформировалось. Бывает, человек один раз испугается и потом боится всю жизнь.

– Служителем? Спятить можно... – проговорил Павел отрешенно и вдруг воспрял. – Вы... Но как же?!... Что же мама-то никогда... Вообще ничего!

– Женщины, они существа слабые. И мама твоя не исключенье, – Владимир Иванович словно не слышал. – Ни мужской труд им не по силам, ни мужской подход. И спроса с них поэтому быть не должно. Мы им даны, чтобы жизнь объяснять, не наоборот. ...Знаешь, когда бывает кто-то поранится, так «больно» кричит. А когда боль слишком сильная, когда рана по-настоящему глубокая, то уже и нет сил у человека на крик. Порой только дрожит и стонет, а то и теряет сознание.

– Интересно, почему? – неожиданно для самого себя отвлекся от страданий Павел, но Владимир Иванович продолжал.

– Так и мама твоя. Ты ее не суди, женщин судить для мужчины вообще последнее дело...

И рассказывал, рассказывал Павлу обо все всем, что знал о его семье, и о тех временах, когда увели дьякона Дмитрия, отца еще не рожденной Нины, от беременной жены, уборщицы храмовой, а ее почему-то не тронули.

– Ты себе не представляешь, в чем только священнослужителей в ту пору не обвиняли! Например, в том, что зазывают колхозников на службы специально и проповеди готовят особым образом, чтобы те саботировали посевную или, наоборот, жатву. Говорили, духовенство из мирян деньги вымогает, чтобы отправлять ссыльным на Соловки или куда-нибудь в Средне-Бельск.

Да как бы они отправили, если о том, куда пропадали люди, никто ничего не знал! Доходили слухи, но... Боялись все, ведь каждого, любого, за одно слово взять могли, и самого, и семью, близких и дальних уничтожить, такое творилось! – Владимир Иванович немного увлекся, но ему казалось важным договорить, чтобы показать, как он Павлу доверяет. – А добровольные взносы собирали, это да, но они нужны были на содержание храмов, на уплату налогов, это все происходило обыкновенно. У церковей ничего своего не осталось, собственность отменили еще в восемнадцатом году декретом, когда отделили церковь от государства. ...И клятву на Библии отменили, и венчаться запретили в те времена...

Я должен был сам рассказать тебе нашу историю, Паша. Сокрушение во мне теперь, что не дошла эта задача до сознания моего.

Я полюбил твою маму, когда сам еще был мальчишкой. Это случилось раньше, чем я научился думать про любовь, а когда подумал впервые, то сразу понял, что мне любви никакой ждать не надо, она давно ко мне пришла и останется со мной на всю жизнь. Мама твоя, – Владимир Иванович неожиданно улыбнулся, – ни на кого не похожа! Я на все был готов ради нее. Цветы ей приносил, когда мы детьми были, книги пересказывал, в кино приглашал, по копейке копил специально. Даже на футбол водил и однажды купил целлулоидную куклу!

Но ей все было не так, ничему от меня не радовалась. Так вот мы и пошли с ней параллельными дорогами. Она меня не прогоняла, я был для нее как брат, она, я думаю, даже любила меня по-своему. Но чего-то не было во мне, чтобы... Ладно, ты все понял.

– Но почему? – вымученно задал Павел вопрос, с которым может обратиться к другому человеку только тот, кто еще не был влюблен никогда. – Почему она сказала «нет»?

– Ну, как «почему»? Другого любила, верной ему была.

– Он ведь даже не муж ей был, вы сами сказали!

– А вот это забудь. Если двое полюбили друг друга, значит, была на то Божья воля. А мама твоя не такой человек, чтоб без любви. Она очень цельная, неразменная, пойми. И если бы она плакала, жаловалась, я бы еще надеялся. А тут понял, раз и в такой час она меня гонит, все. И еще я подумал, что грех мне Бога гневить. Я мог оставаться с ней рядом, мог помогать во всем. Мне никто не мешал.

Я встречал вас из роддома, когда ты родился. Я приходил к вам всегда, когда был свободен, если она позволяла прийти. Ты вот спросил меня, не отец ли я тебе. Я бы дорого дал, Паша, чтобы ты мог считать меня своим отцом. А мне ты всегда был сыном, это я говорю в смирении пред тобой. Так что, потерял ты сегодня или нашел, решай сам.

– А ваша жена? – Слова о том, что его мать неразменна, Павла немного утешили, но ревниво хотелось удостовериться, так ли сильно отец Владимир ее любил.

– Через три года после того, как ты родился, в храме я заметил девушку, и мне показалось, что она похожа на твою маму, – Владимир Иванович помолчал. – Это было на Покров. Красивый праздник! Ты только представь, что сама Богородица своим пречистым покровом одевает землю. В этот день часто выпадает снег, чтобы зимой земля лежала в тепле...

Я уже должен был рукополагаться в сан дьякона. После таинства жениться бы не смог. Пошел к батюшке, своему исповеднику. И он мне наказал, чтобы я обращался в священство с матушкой... Вот я и венчался.

Она хорошим человеком была, Галя. Но родами Маши умерла. И я все равно остался один. А с другой стороны вас у меня много, с мамой твоей мы большие друзья. И это ли не счастье? Интересно вот еще мы подобрались. Маша матери не знала, а мама твоя и ты – отца... Я же хоть и застал отца своего, но все равно его не помню. Вот и размыслишь, почему мы все вместе собрались. Не для того ли, чтобы лучше понимать слабости друг друга? – он помолчал. – А ты куда хотел бы направиться после школы? Мечтается, что неплохо было бы в Духовную семинарию...

– Почему в семинарию? – растерянно переспросил Павел.

– Вы же ко всему еще из очень древнего рода, Прелатовы вы. Думается мне, переселенцы, вполне возможно такому быть. Дальше уж не могу сказать, откуда, как. К сожалению, теперь уж вряд ли узнаем, архивы многие сожжены, не жалела истории наша власть. Но уж как есть.

Ты знаешь ли, что такое прелат?

Бабушку твою против воли ее добрые люди переписали, чтобы выжила она. Это после того, как деда твоего взяли, она же тогда сама безответная была. Хотя не это ее спасло, конечно, а Божья воля...

– Какой род? – Павел не понимал, о чем шла речь. – Почему Прелатовы? Это вообще что?

– Прелаты, Паша, – Владимир Иванович снова понизил голос, – это епископы, кардиналы католические. Они еще из древнего Рима основанье берут, тогда при Папском дворце такая должность была, титул такой.

Как уж получилось, что род ваш в православье перетек, Бог весть. Но прадед твой был священником, протоиереем Прелатовым. Говорить об этом кому-то вряд ли стоит, ты понимаешь, я к тебе как к взрослому адресуюсь сейчас. Но знать следует, – Владимир Иванович многозначительно кивнул и внимательно посмотрел на Павла: услышал ли?

Павел молчал. Все это казалось для него чересчур сложным и не таким уж важным, а родство с католическими чинами ровным счетом ничего не обещало. Чем тут гордиться, он не понимал и с недоумением поднял глаза на Владимира Ивановича, который тут же пожалел

о сказанном: перегрузил мальчишку, не понять ему сейчас, разоткровенничался преждевременно. Ну, да уже сказано, следовало продолжать.

– Так что, – спросил он еще раз, но вздоха не сдержал, – пойдешь по линии рода? Традиция ведь дело великое!

Павел ответил не сразу. Впервые взрослый человек так откровенно говорил с ним. Последнюю часть разговора Павел отбросил, посчитав ее несерьезной. Было и было, какая разница, что. Ни трепета, ни испуга не осталось. Прелатов, Прелапов... Было бы о чем говорить! Павлу казалось, за недолгое время разговора он стал взрослым.

– Нет, дядь Володь. Спасибо вам за все! Вы только не обижайтесь. В Духовную не пойду. Мама, вон, в молитвах выросла, и что? Всему перечит. В любовь какую-то сорвалась, подумаешь, пограничник, мне вон двух лишних слов не скажет. Да нет, я не осуждаю, я жалею ее. Только... Я хочу чего-то другого поискать. Чтобы вот так не получалось. Чтобы знать, как помочь человеку, если ему трудно. Может, в психологи пойду. Не знаю я пока.

– Твое право. Добре, если не судишь. И что людям помогать хочешь. Я тоже хотел помогать. Выбрал старый проверенный способ.

Владимир Иванович со вздохом замолчал. Не нарушал тишины и Павел. Ему действительно нужно было подумать над тем, что услышал, но главное он уже определил. «Потерял ты сегодня или нашел, решай сам», – сказал ему Владимир Иванович.

Павел нашел.

С тех пор Владимир Иванович был первым и единственным человеком, которому он мог без обиняков доверить себя. И сейчас, осенним утром две тысячи третьего года сорокалетний Павел Прелапов собирался войти в офис, двери которого отрезали от него скорбные мысли о семье, любимых людях – начисто.

Доставая из машины портфель, Павел еще подумал о том, что мать собралась в отпуск, и поэтому Владимир Иванович переедет к ним. Это означало, что совсем скоро наступят исполненные смысла вечера, когда он сможет отвести душу, слушая рассказы драгоценного своего бати. Заодно и Маша оживится, рядом с отцом она всегда проясняется, тогда даже Страхо, будь он неладен, отойдет на второй план. Если только это возможно.

Глава четвертая.

Цирк и самапосебешная девочка

Когда она познакомилась с Павлом, Маша не помнила, он был с ней рядом всегда, и неинтересно ей было бы узнать, когда же они встретились впервые.

Люди, окружавшие Машу, вряд ли могли догадаться, насколько мало воспоминаний она хранила, и как недолго задерживалась в ней память о происходящих событиях, особенно поначалу. Она и умершей матери своей вспомнить не пыталась, словно ее попросту никогда не существовало. Той тоски по неизвестному родителю, которая терзала растущего Павла, Маша не ведала, обделенной себя ни в чем не считала. Всю жизнь вокруг нее вилось предостаточно добросердечных церковных женщин, и они с готовностью пестовали «безматернюю сироту».

Владимир Иванович баловал свое чадо, Машино «хочу» действовало на него как спусковой крючок, которому стоит сработать, и вот уже – пост, не пост – отец летел выполнять желание единственного ребенка без всякой потребной для священника сдержанности. Правда Маша редко хотела чего-то сверх того, что имелось, может потому и забывал обо всем ее отец, стоило вдруг ей о каком-то своем желании объявить.

Маша жила при храме, и это для нее был дом, где можно скакать и прыгать, баловаться и чувствовать себя счастливой. Так она и прыгала, подрастая, если, конечно, в храме не шла служба, во время которой полагалось вести себя, по крайней мере, тихо. Это очень трудно, почти невыполнимо – не шуметь, не петь и не подскакивать: «Я шелковый котик! Я плюшевый песик! Я птичка летучая по небесам!»

– Машуня, во время литургии забегать в храм с песнями нельзя, – увещевал отец.

– Не буду, не буду с песнями! Я послушная, девочка нескушная! – А сама то на цыпочки, то на пятки, и вот уже летит с прискоком к Царским Вратам. Но ведь не распевает, пообещала, только башмаками по полу хлопает. Постоять смирно не заставишь, приходится с шиканьем отлавливать и выводить.

Маленькую непоседу нередко запирали в светелке с кем-то из служащих, а то и одну, тогда она безропотно устраивалась напротив небольшого аквариума с исцарапанными тусклыми стеклами, да так и замирала, сидя на скрещенных тощих ногах, подперев щеки, по часу, а то по два не отрывая взгляда от подводного царства. В пору было аквариум в придел храма переносить, чтобы ребенок хоть немного посидел смирно, молитвы и песнопения послушал.

В аквариуме плавали гуппи, Маша утверждала, что они друг на дружку не похожи и называла рыбок по именам. Но однажды аквариум лопнул.

Маша молчала до конца дня, а вечером заплакала, да так разошлась, что прорыдала почти до утра.

– Рыбки умерли, – причитала она, – а мы могли бы летом поплавать вместе в реке, я им обещала!

Иногда по просьбе Владимира Ивановича Машу забирали к себе Прелаповы, чаще в храм приходил за ней Павел, Нина Дмитриевна не вылезала из своей школы. Маша подставляла своему старшему другу то нос, и Павел помогал ей сморкаться, то тонкие ноги с торчащими в разные стороны коленными чашечками, и он шнуровал ей ботинки или застегивал сандалии. Он отводил ее к себе домой, кормил, читал книжки и развлекал, пока не являлся Владимир Иванович и не забирал свое прыгучее сокровище.

– Паш-Паш! – звала она по телефону, когда стала постарше и уже оставалась дома одна, у меня математика не сходится!» И Павел ехал, бежал и решал ее задачи, объяснял, огорчался...

Ему казалось, Маша невнимательна. Или даже бестолкова, ведь он объяснял примеры вдумчиво, в классе ему частенько приходилось подтягивать отстающих, и это всегда получалось. А Маша не сосредотачивалась, отвлекалась, порой не могла воспроизвести ни слова из того, что только что прозвучало.

– Повтори, что я сказал! – требовал Павел и теребил ее острый локоть, заметив, что Маша рассеялась и не слушает.

Она возвращала взгляд, да и наверно сама возвращалась, но видимо не полностью, как будто не совсем понимала, куда и зачем вернулась, смотрела, не узнавая, потом жалобно просила:

– А скажи еще раз? Я голова из сада, я опять все прослушала!

– Надо говорить: голова садовая.

– Конечно, только я – голова из сада, там расту и там расцвету, мои лепесточки опадут и станут бабочками, и будем мы летать вместе с пчелками, они будут пыльцу собирать и меня угощать, а я напеку им пряничков! – безостановочно сыпала Маша. И улыбалась, крутила на палец светлую кудряшку.

– Математику разбирать будешь? – терялся Павел и думал, что от Маши трудно не спятить.

– Буду! Паш-Паш, не сердись! – платье поправит, волосами встряхнет, вздохнет и слушает три минуты.

А потом глаза как будто поворачиваются внутрь, и остается только их отражение, как нарисованная картинка, наверно возвращается в свой сад, из которого родом ее голова. Так и училась на тройки, ни Павел, ни даже отец, у которого, казалось, сто терпений, а они по его же утверждению равны одной любви, – никто не мог научить Машу сосредоточиться на задачах.

Гуманитарные предметы ей тоже давались с трудом, все, что нужно заучивать, отчуждалось. Ворота сада, где угощают друг друга сладостями бабочки и пчелы, стояли открытыми и звали ее в свою заветность, манили, влекли то ли миражами, то ли иной реальностью, незримой для окружающих.

В тринадцатый день рождения Маша получила подарок от Нины Дмитриевны – билеты в цирк. Их было два, отец идти на представление отказался сразу, и второй билет достался Павлу – студенту третьего курса МГУ.

Учился Павел прекрасно, стипендию получал повышенную, но, как правило, всю отдавал матери, поэтому денег у него почти не водилось. Владимир Иванович снабдил детей небольшой суммой, чтобы они не лишали себя одного из главных удовольствий от похода – буфета, где наверняка продавалось что-нибудь, чем в обычной жизни полакомиться удавалось нечасто.

Например, бутерброды с соленой рыбой или копченой колбасой, какой нигде не достать. Кусочек прозрачный, конечно, но и хлеб тонкий, поэтому вкус колбасы сохранялся, это ли не радость? И мороженое в цирке отменное, почему-то вкуснее обычного, такое же вкусное продавали разве что в магазине «Детский мир» на площади Дзержинского. Словом, пойти в театр или цирк без посещения буфета — радость большая, но не полная, а тут, говорила Маша, «пирог по всему удался и – ура! – будем мы с тобой, Паш-Паш, оциркачены и обуфечены!»

После первого отделения, уже задержав своего спутника вопросами о дрессировщиках, Маша бегом устремила в буфет, Павел едва ее догонял. Две косички-растопырки с кудряшками на концах, юбка трапецией в клетку, блуза белая с кружевным воротником – Маша выглядела нарядной.

Павел купил заветные бутерброды с колбасой, на рыбу денег не хватало, тогда пришлось бы обойтись без мороженого. Маша выбрала колбасу и мороженое, а от рыбы отказалась. Она взяла тарелку, понесла ее к круглому столику, но ее толкнули в локоть, и один

бутерброд улетел, по счастью шлепнулся хлебом вниз, колбаса прилипла к хлебу, не соскочила и не испачкалась.

Маша охнула, поставила тарелку на ближайший стол и наклонилась поднять драгоценный дефицит:

– Уронила, растрепа я, шляпка замухрышная!

Павел рефлекторно дернулся вниз тоже, присел, чтобы поднять злополучную колбасу, как прямо перед ним растопырились тонкие, еще не набравшие женской округлости ноги, беспардонно задрапированные поверх колгот штанами в какой-то дурацкий рубчик.

Всего миг, Павел вскочил и шарахнулся в сторону, но этого хватило, чтобы вспомнить о саде, в котором расцветают головы, и куда попадают только избранные. Кровь бросилось Павлу в лицо так, что зазвенело в ушах.

Маша распрямилась, он шагнул к ней, отнял упавшую колбасу, сунул ей в руку чистый бутерброд, буркнул: «Ешь нормально» и исчез с глаз, отправился метаться по круглому коридору и приходить в себя, что удалось не сразу.

Два года назад, еще на первом курсе, в общежитии университета Павел впервые прикоснулся к женщине.

К разудалым рассказам приятелей он изо всех своих сил не прислушивался, сторонился, как мог, и вокруг уже шутили, что «Прелапову хоть на нос вешай». Павел хранил загадочный вид, на зубоскальство в свой адрес не реагировал и говорил себе, что успешные в этом вопросе друзья скоро отстанут, а пресловутый вопрос как-нибудь да решится сам собой. Внутренней своей «вилки» он в ту пору еще не отслеживал, побег от слишком откровенных рассказов приятелей воспринимал линейно, как демонстрацию своего нежелания к действию примкнуть. Но тут все сложилось так, что надеяться не на что, разве полпроцента из ста: не пойдет с этой грудастой и губастой, затравят его потом, ведь на нее соглашались все, даже пальцы тайком бросали, а она выбрала именно Прелапова и откровенно заигрывала с ним.

То была настоящая акция. Оценив ситуацию, взвесив все «за» и «против», ни на йоту не признаваясь себе, что интерес к процессу распелся в нем на все голоса, Павел отправился в комнату фактурной девицы, взмок, но постарался вести себя поглубже, ему казалось, именно таким должен быть опытный ловелас. В глазах молодой искусительницы дебютант не посрамился, но потом его преследовал чужой запах, и гордость оттого, что он мужчина, мешалась с брезгливостью и злостью. На обратном пути домой он поймал себя на том, что потирает кончиками пальцев об основания ладоней. Ему казалось, весь он пропитан неприятным и чужеродным, а крана, чтобы, как минимум, вымыть руки, в комнате общежития не было.

В этот вечер, стоя под душем и оттирая себя мочалкой, Павел решил, что больше подобного не повторит, но завтра наступило и сыграло по правилам, о которых он раньше не догадывался.

Эти встречи, однако, долго не продлились, пришло лето, а с ним стройотряд, где подобные вопросы решались просто, быстро и к всеобщему удовольствию. На втором и на третьем курсе Павел больше от себя не скрывал, что приключения в любовном жанре весьма занимательны, он куролесил с удовольствием, то и дело нарушая домашнюю традицию и приходя домой позже обещанного.

Нина Дмитриевна каждый раз воздевала руки и восклицала, Павел искренне каялся и обещал, что подобного больше не повторится. Но время от времени он снова давал матери повод к упрекам, каждый раз искренне переживая потом, что она из-за него опять с больной головой. Последнее время он как раз притормозил, стал больше бывать дома.

И вдруг, нате вам, цирк.

Ведь взрослый мужик, ты что, юбки не видал, и Машку, пока росла, во всех видах... – пытался Павел привести себя в чувство. Но темно-коричневые, да еще с каким-то дурацким кантом внизу штаны поверх колгот на тонких Машиных ногах из головы не шли, и желанного

равновесия не наступало. За такую неожиданную и постыдную слабость Павел злился на себя изо всех сил.

Второе действие представления он не запомнил, во время выступления укротителя диких зверей ни одной реплики не издал, а нервничал, проклинал образное мышление и очень хотел, чтобы представление поскорее завершилось.

Маша недоумевала и жалобно поглядывала на него на обратном пути. Впрочем, Павел этому был даже рад, он исподтишка бросал на подругу взгляды и уже понимал, прежней простоты общения с этой знакомой вдоль и поперек девочкой больше не будет. И не видать теперь ему, Павлу, покоя до тех пор, пока... «Надо что-то делать», – в неожиданных случаях говорил Владимир Иванович. Вот эта фраза и крутилась в Павловой голове, то и дело грозясь перевернуть с ног на голову и его самого.

– Ну, и как представление? – Поинтересовалась дома мать, ожидая хоть какой-нибудь компенсации за пучок нервов, истрепанных в борьбе с коллегами за билеты. – Маша довольна?

– Нормальное представление. И какое мне дело, довольна твоя Маша или нет? Рехнуться с вами можно вообще! – Вскинулся Павел и тут же себя обругал.

– Ты не влюбился? – прищурилась философски настроенная в этот день Нина Дмитриевна. В отношении сына она бывала очень дальновидной. – Ну, надо же, кто бы мог подумать! Нет, да ведь она еще ребенок! Хотя, – покачала она головой, глядя на дверь, за которой скрылся раздраженный сын, и подумала, что это в вещах, раз маленькое, так, кроме как на тряпки, никуда не годится. А тут вырастет.

И кивнула многозначительно.

А в Машиной жизни пело небо. Просыпаясь по утрам, первым делом она смотрела в окна, зимой, печалась от непроглядной московской темноты, брела в кухню в поисках белых тараканов, которых ловила и рассаживала по банкам, чтобы наблюдать потом, как темнеет их хитиновый покров. По выходным, едва ранние часы окрашивались восходом, тонкая, в простой ночной рубашке, она бежала к подоконнику, садилась на него, поджав ноги, и замирала.

– Привет, небушко!

Высь никогда не повторялась.

Маша старалась смотреть дальше и глубже, небо казалось ей многослойным, каждый пласт был своей упругости и своего цвета, они, наверное, имели и разный вкус. Маша мысленно прикасалась губами к дышащей голубизне или запускала ладони в серую всклокоченность непогоды.

Порой небо представлялось ей реками, многими реками, держащими свои русла в опасной близости друг от друга, но чудом сохраняющими их священства. Небеса хранили себя для молитв и птиц, русла небесных рек трепетали даже при абсолютном безветрии, они принимали новые, причудливые формы, не впуская в себя ни человеческих летающих машин, ни разноцветных праздничных салютов, а только изгибаясь и вскипая им вслед. Маша проходила взглядом пороги небес каждый раз заново, и небо открывало ей свои проникновения.

Она улыбалась воробьям на ветках, внимательно следила за обстоятельными воронами, умилялась, глядя на большеголовых галок, всегда похожих на птенцов и придумывала о них короткие сказки.

«Жила была добрая галка, было ей жить удобно, потому что была она похожа на своих сестер. У них могли быть разные лица и разные характеры, но одежда из перышек была у всех птичек примерно одинаковая, и лапки одинаковые, и крылышки. Это самое главное, что у всех галок крылышки поднимали их на одинаковую высоту, а на головках галки носили одинаковые маленькие черные шапочки. Но однажды на голову доброй галки упала сверху капелька клея.

Это мальчик с последнего этажа размахивал в окошке кисточкой и уронил ее, и вот капля клея от кисточки оторвалась. Упала эта капля на голову галки и склеила перышки. Галка почув-

ствовала что-то неприятное на голове, одной ножкой уцепилась покрепче за веточку, а другой почесалась. И перышки на голове у галки встали дыбом.

Было очень-очень жарко, и клей сразу застыл, сделав на голове у галки хохолок. На этом хорошая жизнь галки кончилась. Потому что этим хохолком она стала очень сильно не похожей на всех остальных. И однажды ее чуть не заклевали.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, может быть и заклевали бы в следующий раз, но засуха прошла, и начался дождь. Он смыл клей с головы галки, и птичка снова стала жить спокойно, потому что хохолком от других больше не отличалась. А на остальные мелочи галки просто не обращали внимания.

Главное не носить на голове ничего особенного».

Маша утверждала, что небесные птицы и их истории никогда не бывали случайными. Там, наверху, существовал единый закон, и крылатые жители празднично чтили его.

Даже если в этот день не служил, отец все равно уходил в храм очень рано, по будням Машины утра чаще длились в одиночестве. И она выпадала из времени, разглядывая заоконный мир, улыбалась каждой набухшей почке весной, а осенью придумывала диковинные истории желтых, проживших век листьев, еще цепляющихся за ветки реальности, или тех, что уже оторвались для полета в неведомое.

Маша размышляла над тем, как, приближаясь к земле, листья отдавали душу небу, как медленно переходили они из бытия в нечто другое, неизбежное, не отвечающее на вопросы о минувшем своем вековании. Ей казалось, она видела ажурные восходящие потоки из прозрачных капель, но не воды, а чего-то другого, больше похожего на пар.

Так выглядели души листьев, думала Маша.

В начальную школу ее отводила соседка по подъезду, доставляла прямо в класс вместе со своей дочерью Леночкой. Дружбы между Машей и Леночкой не получалось, одна из них была отличницей, а другая «ловила ворон» в смысле не совсем переносном, потому что, зацепив взглядом одну из них, начисто отключалась от происходящего. Над Машей подшучивали, но чаще она безмятежно улыбалась в ответ.

– Машка, ты опять с подоконника свалилась? Не ударилась? – Пытались ее зацепить.

– Ударилась, – кивала Маша доброжелательно, – хотела полетать, а плюхнулась.

– А синяков понабила? И что, опять полезешь?

– Наверно набила, – соглашалась Маша. – И правда опять полезу. Буду вся в синяках, синяя, как дохлая гусыня!

Становилось неинтересно, и одноклассники переключались на другие объекты – более отзывчивые.

– Бережкова, ты же подготовила урок, в тетрадке все написано правильно! Почему же ты не можешь ответить? Ты делала уроки сама? Или списывала? – грозно вопрошала учительница.

– Сама, – кивала Маша и умолкала, заметив на стене муху, которая передними лапками умывалась потешно, как кошка, что жила у отца в храме.

На экскурсиях она отставала, прирастала взглядом то к картине, то к иному экспонату, а в ботаническом саду потерялась вовсе, после чего одну ее уже не оставляли: едва класс покидал школу, учительница брала Машу за руку и больше не выпускала до возвращения. Маша не сопротивлялась, с улыбкой протягивала невесомую ладошку, но время от времени учительница ощущала, как тяжелела эта маленькая рука, когда девочка снова примечала нечто ей родственное и мысленно с ним соединялась.

Дома она листала книги, тогда отец надеялся, что перерастет его дочь, наберется внимания и сможет достойно учиться. Но Маша, закрывая энциклопедию и брошюры, рассказывала не о том, что в них прочла, а о том, что думала, и, как правило, к прочитанному это отношения не имело.

– Машуня, ну почему ты такая невнимательная! Как же мне достучаться до твоего сознания? – Мягко отчитывал свое драгоценное чадо отец, ни разу так и не напомнив дочери ее обещание учиться на одни пятерки. – Почему ты не попросишь учительницу, или кого-то из сильных учеников, чтобы тебе объяснили материал, если ты его не поняла?

– Не хочу, – вздыхала Маша. – Не интересно и не буду я никого просить, все равно не пойму. И я послушная, пап, просто я самапосебешная.

Зимой в четвертом классе начальной школы Маша не вернулась после продленки домой. Как обычно ее привела обратно мама Леночки. В лифте на третьем этаже они простились, Маша уехала на пятый. Но дома ее не оказалось. К вечеру она все еще не объявилась, отец позвонил Прелаповым, побежал в школу, опросили педагогов и учеников. Никто ни о чем не догадывался.

Павел немедленно принеся и бесполезно метался по квартире, вскоре приехала и Нина Дмитриевна. Повторяя попеременно то «господи, помилуй», то «нет, это просто черт знает, что такое», вскакивала со стула и начинала перекладывать с места на место книги или снова усаживалась, но ненадолго.

Владимир Иванович уже терял рассудок от страха и, то и дело повторяя: «надо что-то делать», сбивался в чтении молитв, когда в дверь позвонили, и на пороге возник Семен Смилга, Машин одноклассник, отличник, очкарик и нелюдим. Его держала за руку весьма пожилая и округло-приземистая дама в мехах.

– Говори, деточка, – позволила она, колоритно грассируя, и погладила мальчика по спине. – Я не уверена, простите, но вдруг это покажется вам надо, – пояснила дама побелевшему Владимиру Ивановичу. – Опасно, где может быть ребенок у такому холод!

– Ваша Маша хотела посмотреть, где зимой ночуют вороны, – оправил пальтишко Семен Смилга, точно воспроизводя интонации дамы. – Я полагаю, она может быть где-нибудь у чердаках!

Господи! Оставив дверь квартиры открытой, Владимир Иванович, а вслед за ним и Павел, взлетели вверх по лестнице.

«Паша! Володя!» – выбрасывая руку вперед на каждый возглас, нервничала у лифта Нина Дмитриевна, но мужчины уже скрылись за дверью чердака, которая оказалась открытой. Там в глубине, свернувшись калачиком на голубином помете, под трубой отопления крепко спала их невредимая девочка.

– Безумье, настоящее безумье! Зачем, Машуня, ради Христа, зачем ты никого не предупредила? – держась за сердце, вопрошал Владимир Иванович, когда Маша уже была доставлена домой, накормлена, напоена и отмыта.

– Ты только не сердись, папочка, но я не думала, что усну. Я хотела дождаться ночи и посмотреть, воронам придется дружить с голубями или они другие места знают? Я смотрела в окошко, вороны садились на крышу, так мнооого! Но почему-то на чердак не вошли... – Маша не чувствовала себя виноватой, но отца и Павла, который тоже никак не мог успокоиться, ей было жаль. – Вечно я такая конфузная, домсоюзная!

Владимир Иванович качал головой и брал валидол под язык, Павел хмурился, запускал руку в шевелюру и хотел попеременно то дать «этой юной натуралистке» подзатыльник, а то пойти вместе с ней искать, где ночуют вороны. Вечер завершился его обещанием обязательно о вороньих ночлежках узнать и показать их Маше, если только это будет возможно. Но, конечно, с разрешения папы!

– Конечно с разрешения, Паш-Паш, ты же позволишь нам, папочка? – ласкалась утомленная Маша.

В среднюю школу она опаздывала, на уроках сидела, по-прежнему уставившись в окно, и выискивала своих птиц, переживая каждое движение их крыльев так, словно эти крылья несла она сама и словно они управляли ею.

– Бережкова, к доске! – вызывали учителя средней школы, и соседка по парте толкала Машу в бок. Маша неторопливо возвращалась в действительность, сделав над собой видимое усилие, невпопад произносила несколько слов. Первое время педагоги считали такое поведение вызывающим, но позже махнули рукой: смирная девочка, просто недалекая. Наверняка сказывается церковное воспитание. На тройки отвечает, а что поручить ничего нельзя, так это, в конце концов, ничего страшного, лишь бы не баловалась.

Маша не баловалась. Но порой становилась невольной участницей не всегда безобидных проказ своих соучеников.

Однажды после уроков, дети учились тогда в шестом классе, пионерский отряд почти в полном составе договорился играть в казаков-разбойников. Машу играть не позвали, так же как и Семена Смильгу, мальчика тихого, упитанного и малоподвижного. Он никогда к Маше не задибался, а пару раз даже спросил ее, что она так увлеченно рассматривает, и не засмеялся, когда Маша поведала ему историю воробышка: «Он заблудился и потерял маму!» Смильга слушал внимательно и моргал глазами под толстыми стеклами очков.

Класс умчал на стройку, раскинувшую свои сети для всякой залетной птицы неподалеку от школы. Туда же спустя минут пятнадцать принеслась и Маша в погоне за хромоногой кошкой, которую вознамерилась во что бы ни стало исцелить.

На строительной площадке громоздились уложенные штабелями бетонные панели. По ним, перепрыгивая через полуметровые зазоры, носились дети. Именно в такую брешь и сверзилась Маша вслед за увечной самонадеянной кошкой. Кошка, впрочем, немедленно удрала, шмыгнула в узкую щель и только сверкнула несгибаемой лапой. Высота штабеля невелика, всего метра два с половиной, но и этого оказалось достаточно, чтобы операция по самостоятельному извлечению Маши затянулась.

Скорее сползая, чем падая вниз, Маша сильно ударила плечо, ободрала руку и бок, они теперь сочились и щипали, но не это было основой ее печали. Пока класс совещался, как бы поскорее выудить из узкой дыры несчастную Бережкову, которую черт принес на стройку, Маша безысходно скучала. Ни птиц, ни даже самых обычных муравьев, просто ничего, за что можно было бы зацепиться взглядом, на дне не было, не находилось вообще ни одного достойного занятия, за которым можно скоротать время. И тогда Маша прислушалась к тому, о чем говорили.

В короткие сроки состав класса сильно исхудал, бочком-бочком ушла домой Леночка и молча засела за уроки, а оставшиеся дети совещались, как бы обойтись без взрослых. Кто-то предлагал, пока ворота открыты, попросить о помощи незнакомых людей, лишь бы только родители и учителя не узнали, что дети играли там, где им находиться запрещено. Кто-то намеревался соорудить живую лестницу, как в цирке, когда один самый сильный держит другого; он то и ухватит Бережкову, чтобы вытянуть ее на свет. Но низкорослые мальчики шестого класса до такой акробатики еще не годились, а девочки повисать вниз головой с тем, чтобы схватить за руки Машу, и чтобы при этом их кто-то держал за ноги, отказывались категорически. Ребята возились, ссорились.

Маша с удивлением подумала о том, что она скажет отцу, и как ей выбраться из ямы, если одноклассники так ничего и не придумают. «Зря я бежала за кошкой, – отвлеклась она. – Кошка не просила меня лечить ее лапу, как другие. Больше не буду так делать, стану помогать только если просят».

– Слышь, Бережкова, – донеслось до нее. – А че тебе своим птицам не сказать, чтобы они тебя унесли на крыльях? Ты ж с ними дружишь, а не с нами! И не мы тебя между плит засунули!

Маша посмотрела дальше голов в узкую щель неба. Ровно над ней парил голубь, обыкновенный московский сизарь, каких она кормила, а то и подлечивала во множестве. И вдруг ей отчаянно захотелось не просто выбраться, но именно улететь. Прочь из этой сырой дыры,

прочь от этих ребят... «Помоги мне! – Мысленно крикнула она птице. – Принеси мне крылья, чтобы я тоже могла летать!» «У тебя будут крылья!» – послышалось ей, голубь тут же скрылся из глаз, и она заплакала жалобно, а потом попросила:

– Сходите в школу, позвоните моему папе! Он меня вытащит. Он хороший, вам ничего не будет!

– Твой отец поп, все в курсе, что он поп. А попы по стройкам не ходят! – с сомнением донеслось сверху.

Ребят осталось уже совсем немного, и они о попах совсем ничего не знали.

Маша не ответила. Она просидела в дыре часа полтора, пока вернулись рабочие, обнаружили кучку детей и достали Машу, сопровождая спуск и подъем непонятными для нее словами, от которых мальчишки хихикали и похрюкивали. Ребята обрадовались рабочим, но дело на том не кончилось, потому что Маша, едва ее извлекли, потеряла сознание. Пришлось вызывать Скорую помощь, в результате чего попало и прорабу, и педагогам, и детям. Всем, кроме Маши. Ее все жалели или просто делали вид.

Она несколько дней провела дома под приглядом соседей, Павел приносил гостинцы от Нины Дмитриевны, приходили активисты вместе с классным руководителем, и дважды появлялся Семен Смилга. Смилге Маша не удивлялась, она даже рассказала ему, как просила голубя о крыльях, когда сидела в сырой яме на стройке. И Смилга ответил, что голубь наверняка свое обещание выполнит. Просто сразу крыльев не получить, вот он и улетел, чтоб передать кому-то такую важную просьбу. Павлу Маша рассказывать эту историю не стала, она была довольна ответом Смилги и теперь смотрела в небо не как раньше, а поджидая, не летит ли к ней птица с чудесным подарком.

От кого? Наверно от Бога, – думала она.

С тех пор Маша иногда переговаривалась на переменах со Смилгой, но на ее настроение этот факт особенно не влиял. Одиночество было ей незнакомо, казалось, жизнь постоянно меняется, каждое утро она встречала так, будто проснулась в неизвестной стране, удивленная ее непохожестью и новизной. Было приятно иногда поделиться своими открытиями со Смилгой, но в восьмой класс он не пришел, шагнув сразу в девятый, и Маша осталась совсем одна. Ее не задирали, но и не звали никуда. «Идем все, кроме дуры Бережковой», – оговаривались, собираясь куда-либо одноклассники.

Маша, казалось, недобрых слов не слышала.

Владимир Иванович как-то спросил у дочери, не слишком ли обижают ее одноклассники.

– Я встретил сегодня Семена Смилгу с бабушкой, оказывается, он уже не учится с тобой?

– Он очень умный, пап, он теперь на класс старше, – не отрываясь от пары хомячков, переселившихся к Бережковым из школьного Живого уголка, ответила Маша.

– Он спросил, в каком ты настроенье. И бабушка его такая славная дама, она сказала, что в вашем классе дети очень любят дразниться. Тебя обижают?

– Что ты, папочка, никто меня не обижает! Ребята же не виноваты, что они одинаковые, – Маша вытащила из клетки рыжего хомячка и поднесла его к губам. – Смотри, какое чудо, такой теплый комочек, только глуповатый!

– Что означает «одинаковые»? – попросил ясности Владимир Иванович и ее получил:

– Я на них не похожа, вот им и обидно, но они все добрые. А еще им скучно и хочется бегать, а нельзя. Что им тогда остается? Ты знаешь, пап, мне кажется, Рыжий говорить не умеет. У него всего несколько слов: или «отпусти», или «есть», или «спать». А Белый – девочка. Она умница, просится на ручки и чтобы ее погладили.

Владимир Иванович думал о том, что дочь его – истинная христианка. Светлая, любящая, необидчивая девочка, улыбчивая хлопотунья, это ли не радость? Только бы ей повезло в личной жизни, – молился он, – Господи, пошли ей хорошего мужа... Чтоб одна не была... Вон ведь она у меня какая, – уговаривал Бога Владимир Иванович и вздыхал, вздыхал.

К окончанию школы стало ясно, что ни в институт, ни в серьезное училище Маша не поступит. О том, чтобы стать ветеринаром, она не вспоминала, а незадолго до выпускного вечера объявила вдруг, что пойдет учиться в кулинарный техникум. Ее аттестат состоял сплошь из троек, и все же близкие считали Машу одаренной, утешаясь тем, что ее способности пока себя не обозначили. «Она так интересно мыслит, может быть, у нее откроется талант к богословию», – временами надеялся отец.

Маша соглашалась, что это занятие замечательное, но все же научиться готовить ей интереснее.

– Ты можешь и не учиться, Машуня, – жалел свою необучаемую дочь отец, – просто приходи работать в храм, посмотри, какое хорошее место в свечной лавке. Спокойное, можно подумать в тишине... Или в христианской библиотеке...

– Очень хорошее, папочка! Но я не умею варить борщ, у Нины Дмитриевы такой вкусный, просто доброе утро, а не борщ, и целый день солнце! Я сварила так же, получилась несуразная жижица. А котлеты, па, помнишь, мои котлеты? Они были похожи на... Помнишь, я себе шишки на ногах набила? Такие жесткие блямбы, на них компрессы надо накладывать, чтобы они сначала рассосались, а потом есть.

Бедная девочка выросла без матери, печалился отец, конечно, кто бы мог ее научить? Значит все-таки природа берет свое, хорошие, правильные у Маши устремления.

– Ну и добре, соглашался он, – значит, у тебя верное женское сознание. Научишься готовить, выйдешь замуж, детишки пойдут, будешь хорошей матерью и хозяйкой. Павел-то давно был? Совсем он в своей учебе пропал. А семья, детки, Машуня, для женщины главное. И пусть науки остаются для мужчин и для эмансипе. Печальная, кстати, тенденция...

– Ты только не грусти, – обнимала дочь своего отца. – У тебя ничего не болит? Это же как женщины-повстанцы, да? По-моему, самые настоящие! Только знаешь, может это конечно и не по-божески, но мне нравится, когда люди могут не зависеть. От предметов, друг от друга. Даже если бы и женщины от мужчин. Что в этом плохого? Главное, чтобы человеку было интересно, чтобы он не торчал в этой жизни, как балясина без перил. Ты только не сердись, папочка. Ой, посмотри, посмотри, – вскакивала она. – Гулико прилетел! Он скоро приведет к нам свою подружку!

Гулико, так эту птицу окрестила счастливая Маша, белый голубь с коротким клювом. Год назад он залетел в окно комнаты Бережковых и Владимир Иванович, осаживая себя и стыдась, высказал все же народную примету, что птица в дом влетает за чьей-то душой.

– Да нет же, папочка, это просто люди трусят от всего на свете! – Маша воодушевленно крошила на подоконник корочку хлеба. – Это Гулико, ты видишь, он другой, но не с голубятни. Для голубятни у него хвост серый, а для дворовых голубей белые спинка, крылья и голова. Он совсем молодой, всем чужой, для всех другой, куда ему податься? Вот и будет он теперь всегда прилетать к нам за едой. Ему от этого намного легче, потому что мы теперь его семья. Ты понимаешь, если кто-то – другой, ему всегда труднее!

Владимир Иванович слушал свою дочь и беспокойно вопрошал Бога, что за удивительная душа спустилась к нему в облике его ребенка, и к чему горнему эта душа призвана.

А белый голубь Гулико действительно с тех пор опускался на их окно каждый день, порой кружил по комнате, не улета с подоконника, когда ему крошили хлеб, а весной привел подружку – коричневую голубку, дикую и пугливую. А пока между рам для него соорудили полочку, куда он с удовольствием водружался, как нарядный и чистый символ этого дома, где влетевшая в окно птица больше плохой приметой не считалась.

Казалось, Маша никогда не оторвется от своих маленьких питомцев, не оглянется и не увидит реальной жизни вокруг себя. Тем не менее, окончив среднюю школу, она неожиданно приземлилась.

Весной во время подготовки к экзаменам ее хомячки расплодились, но через пару дней помет исчез. Маша пришла в настоящий ужас, малыши еще слепы, убежать они не могли, а глупые родители, говорила она, не выучили новых слов и на вопросы о детях не отвечали. Пришлось бежать в библиотеку, откуда Маша вернулась заплаканная, взяла клетку и вместе с питомцами унесла.

Обратно она пришла с пустыми руками и сообщила отцу, что с грызунами больше не дружит.

– Такие милые, такие веселые! Они съели своих деток живьем, эти глупые меховые стручки! Я не обижаюсь, раз у них такая природа, но больше грызунов-скалозубов не заведу. Знаешь, пап, животные, оказывается, как люди: с глупцами лучше дела не иметь!

– В природе, Машуня, самец от родившей самки часто уходит, вот такого казуса и не случается. Не только хомячки могут потомство пожрать, даже крупные хищники так делают. Тигры, например. Кажется, еще способны белые медведи... Нужно просто почитать об этом, чтобы в следующий раз все сделать правильно. Так что, тут не они глупцы, скорее мы, люди. Без ответственности, без должного понимания поступаем...

Маша слушала молча, ковыряя пальцем чулок на остром колене. Потом подняла глаза, влажные, радужные, и с дрожью в голосе сообщила, что обязательно прочтет все, что найдет на эту тему. Весь вечер она выглядела скорбно, хлюпала носом, терла глаза, как ребенок, и Владимир Иванович сокрушался, не слишком ли сильно обидел дочь. Он даже позвонил Павлу, и настоял, чтобы тот приехал, не отговаривался захватившей его учебой.

– Балда я многопудовая, некумека горестная! – Бросилась Маша Павлу на шею как в детстве, и он сразу же перенесся в злополучный цирковой антракт, отчего захотелось одновременно пойти налево и направо: обнять ее покрепче, но в то же время сбежать и никогда не прикасаться. Впрочем, отстраниться он даже не попытался, Маша висела на нем, обхватив его руками и ногами, и плакала.

Это было невыносимо.

Павел теперь с девушками почти не встречался, мысли о Маше гнал и под любым предлогом отказывался от привычных дружеских встреч, снова приводя этим Нину Дмитриевну в неприятное недоумение. Он занимался с утра до вечера, среди однокурсников чуть не прослыл ботаником, а среди педагогов окончательно зарекомендовал себя перспективным студентом. Машу по-прежнему считал не просто маленькой девочкой, а младшей сестрой, он казнил себя за любую фантазию о ней и еще глубже зарывался в учебу.

Но не приехать, когда сам Владимир Иванович попросил его о помощи, Павел не мог и теперь чувствовал себя предателем по отношению к лучшему человеку на свете.

Маша рыдала ему в ухо, и шее было мокро.

Пронаблюдав эту картину, Владимир Иванович словно коснулся острого шипа, но не подпустил к себе догадку, отбросил, сосредоточился на переживаниях дочери. Машуня, Машуня, думал он и нервно зевал, ему снова не хватало воздуха. Зевание досаждало, и священник оставался у открытого окна, глубоко вдыхал городскую весну и снова возвращался к своей тревоге: «Машуня!»... Лето она провела, никуда не выезжая, по утрам послушно молилась, днем помогала в храме, бралась за любую работу, разносила обеды немощным старикам округи.

– Хотя я и не молитвенная, хоть я у тебя и неученая, папочка, а буду я как добрый самарянин. Он ведь не священник, не одноплеменник, а жил по-христиански! Ой, пап, ты не оби-делся?

– Ты женского роду, а неученость не порок. Знаешь, какими бывают обыкновенные деревенские необразованные люди? Диву даешься, сколько в них деликатности, такта... Я не о внешнем, ты понимаешь, о внутреннем. А ведь их толком и не воспитывал никто, и не было на них ни ученья, ни внушенья на тему поведения или рассужденья. И наоборот, иные учены-

переучены, а слушать горестно, чем их помыслы заняты. Главное, чтобы было сердце добрым. А у тебя оно золотое, – обнимал свое сокровище Владимир Иванович и, затаивая дыхание, следил, как меняется Маша.

Теперь по вечерам она читала учебники и разнообразные книги о животных, взятые в библиотеке, все более успешно сосредотачиваясь. В книгах она пропадала так же, как когда-то на подоконнике перед законным пейзажем.

– Ты представляешь, папочка, муравьи-загонщики на своем пути совершенно, ну просто совсем-совсем все уничтожают. Они могут пожрать даже маленьких крысят, вот почему, оказывается, крысы в тропиках не живут! Всего-то из-за муравьев. И ведь этого никто не знает... Или только я одна такая в жизни отключенно-аварийная? – Стоя на локтях и коленях на диване, Маша снова утыкала нос в книгу.

В кулинарном техникуме речь больше не заводилась, Владимир Иванович по-прежнему надеялся, что дочь останется работать в храме, чего теперь ему еще больше хотелось. Он понимал, его девочка, даже читающая и выписывающая что-то в свои тетради, как и прежде остается словно не от мира сего.

– Пап! – В широкой рубахе поверх узких бриджей Маша вставала, потягивалась и превращалась в прямоугольник с торчащими в разные стороны тощими конечностями и всклокоченной головой. – Ты когда-нибудь задумывался, дышит цыпленок в яйце или нет? А ведь он дышит, дышит!!!

– Мне думается, дышит, – отец с нежностью и неизбывной тревогой смотрел на дочь. – Ведь ребенок в утробе матери дышит тоже...

– Да, да! – Снова на локти и колени и, уже погружаясь в чтение, Маша договаривала едва слышно. – Но ведь тут какая обшивка, вот я и не думала никогда, не думала никогда... ни о чем... дурилка ливерная...

– Не говори о себе плохих слов, доченька, – в сотый раз уговаривал отец, и ради него Маша отвлекалась еще на миг.

– А это и не плохо вовсе, я же колбаса яичная, ливер высшего качества!

Отец призывал Богородицу и молил заступничества о своем ребенке, просил женского счастья дочери у святых покровителей семьи Иоакима и Анны и тяжело вздыхал по ночам, когда Маша уже спала. Закрыв глаза, Владимир Иванович все твердил свои молитвы, но покоя его душа не обретала.

Ему хотелось бы больной вопрос оставить на Божье попечение и дальше жить спокойно, дескать, Господь усмотрит, но и этого не удавалось тоже. Теперь, когда на исповеди в храме кто-то делился с ним своей тайной тревогой, и он советовал прихожанину не думать о проблеме, а вручить ее Господу, Владимир Иванович вспоминал о Маше и о том, что сам он последовать мудрости не в силах. После этих случаев он уставал особенно и, когда исповедь заканчивалась, еле из храма шел. Ему хотелось тишины и уединения, он бы припал к лику Божьей матери и так бы стоял долго, но сан требовал сдержанности, Владимир Иванович обуздывал себя.

В один из осенних вечеров Маша в храме дожидалась отца после всенощной.

– А что бы ты сказал, если бы я пошла учиться на медсестру? А, пап? – Спускаясь в метро и держа отца под руку, задала Маша неожиданный вопрос, и в ближайший свободный день Владимир Иванович отвез дочь в небольшой приход на окраине – к знакомому священнику, с которым они когда-то вместе учились в семинарии.

– Там настоятель учредил очень хороший почин, Машуня, – сказал накануне Владимир Иванович. – Молоденьких девочек готовят в сестры милосердия. Они потом будут, конечно, в медучилище поступать, а пока с ними ведут специальные беседы, духовное чтение, чтобы выработать у них правильный подход к больным и к своему служению. С девочками серьезно занимаются и по предметам, это может быть очень полезной подготовкой для тебя.

Но Маша в этом приходе не задержалась. Буквально через несколько дней она на занятия не поехала.

– Я проспала разбудильник, пап! И так крупнопланово продрыхла, что идти уже было даже глупо, ну и стала спать дальше.

– Несерьезно, Машуня, – увещевал дочь Владимир Ивано-вич. – Как же ты станешь доброй самарянкой, если пропустишь важные знания и подготовку? Что ты опять как маленькая? Надо с этим что-то делать!

Но на следующий день все повторилось, Маша крепко спала до двенадцати, а проснувшись, снова нагородила частокोल из книг, водрузилась на диван и занялась чтением попеременно то из одной, то из другой книги.

– Мне стыдно, папочка, но у меня точно был упадок сил! – Неестественно кося глазами, бубнила вечером Маша. – Ты только не расстраивайся! Ты не расстроился?

Владимир Иванович недоумевал. Маша прежде никогда не врала и ведь учиться на медсестру она просилась сама! Тут что-то скрывалось, влажные глаза, поблескивающие с дивана, говорили об этом. Но что? И отец принимал версию дочери.

– Упадок сил, это все равно что лень в разлив, Машуня. Синдром стопроцентный, по виду точно упадок сил. Но подумай честно, так ли уж мы с собой не покривили душой? На самом деле это она, лень первостатейная! – Машина версия не убеждала, и Владимир Иванович слегка поднажал: – Ты сама просила меня об этом. Так отчего это внезапное скисание, да еще неправдой приправленное? В чем дело, признайся мне!

И Маша сказала.

– Я туда больше не пойду. Может у меня и медный лоб, но там я учиться не буду точно. Они там задом ходят и каждому столбу кланяются. Службы нет, а как будто служба идет. Не хочу такой показ, я лучше буду сама готовиться, вот сяду и буду по программе читать. А надо помолиться, платок надену и к тебе приду.

Владимир Иванович потерялся.

Надо было как-то реагировать на «каждый столб», но он не умел кривить душой. Ему тоже казались чересчур нарочитыми правила, который настоятель храма, где служил его знакомый священник, учредил в своем приходе. Там не звучало смеха на переменах между занятиями, не было здоровой разрядки, не светились улыбки... Красивые юные девочки, с лицами, по-монашески затянутыми в платки, входили и выходили из дверей с поклонами и крестными знамениями, то и дело прикладывались к иконам и не поднимали глаз на проходящих мимо. Те несколько раз, когда он там бывал, отцу Владимиру неловко было на этих девочек смотреть, но он старался свои чувства до осмысления не допускать, полагая, что будет уловлен грехом.

«А король-то голый...» Маша оставалась для Владимира Ивановича невинным младенцем, в словах дочери он опознавал то ли истину, то ли самого себя. И правда, подумал он тогда, не в том, чтобы в пол смотреть и глаз от земли не поднимать, милосердие заключается...

– Ну что ж. Может быть, так и правда лучше. Занимайся тогда, Бог в помощь. – Владимир Иванович оставил уткнувшуюся в книгу дочь и отправился в кухню, где тяжело задумался.

Глава пятая.

Квартира на Грановского и обретение Страхо

...«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои», сказано в тексте псалма. Если бы можно было допроситься, чтобы Бог сам объяснил человеку, отчего томится его душа. В этот час Владимиру Ивановичу показалось, что дочь и его священство размещаются по разные стороны от него самого, и он, крепко держась обеими руками за свои достоинства, избранное и данное, вдруг раскачался так ощутимо, что потерял ощущение стержня, необходимого для продолжения жизни.

Но раздались старческие шаги, появился сосед Попсуйка, подошел близко, взял за локоть и проникновенно-ласковым тоном заговорил. Голос старика шуршал, как старая бумага. Владимир Иванович обернулся.

– Ты, милоч, мне не поможешь? У меня тут беда приключилась, прямо беда, я за свою кровать газеты обронил, такие важные, такие важные, а достать никак. Я уж и шваброй, а боюсь, разорву, ведь это сама история, сама история!

– Конечно, конечно! – Владимир Иванович тут же внутренне собрался и отправился к соседу в его огромную захламленную комнату, несмотря на большое окно, темную даже летом. Дед крепко держал его локоть и ногами перебирал медленно, а, войдя, сразу опустился на стул. Старый кожаный диван с высокой спинкой, на котором спал Попсуйка, плотно к стене не подвигался, а рукой газеты не достать. Владимир Иванович диван отодвинул, расчихался до конфуза, но достал газеты – желтые, действительно старые.

– Это какого же они года? – Поинтересовался, раздвинул тонкую стопку и одновременно прочел: «Русское слово 3 (16-ого) мая 1909 г.» Поразительно! – А позвольте взглянуть?

– Бери, милоч, бери, – Попсуйка смотрел перед собой белесыми глазами. – Ты главное их достал, не завалиются, не пропадут. Бери, бери, что им теперь сделается.

Владимир Иванович вышел в коридор, развернул хрупкую бумагу, пробежал взглядом, приветливо кивнул головой при виде твердых знаков в конце слов, букв I, ять и прочел: «Шаляпин и «союзники». Нам телеграфируют из Киева. Киевские «союзники», желая пополнить партийную кассу, обратились к Ф. И. Шаляпину с просьбой дать концерт в пользу «трудящегося русского народа».

Шаляпин не ответил. Обиженные союзники послали артисту телеграмму с предложением больше в Киев не приезжать».

Владимир Иванович улыбнулся и перевернул страницу. Вверху слева крупными буквами значилось: «Старообрядческий съезд». Взгляд пробежался по сложенной странице...

«...И сами „отцы“ старообрядчества, начетчики, боялись своего ума, на все искали „ответ у святых отцов“. Рылись как кроты в старых „божественных“ книгах, на них строили и свое учение, и свою жизнь, и свою защиту старой веры»...

Владимир Иванович нередко с печалью размышлял о войнах между конфессиями. Формальности, формальности, думал он. Старообрядцев в чем только не обвиняли. Например, Христа они называли не Иисусом, а Исусом, в связи с чем были гонимы за то, что якобы говорят об ином Боге помимо прочих погрешностей в вере.

А споры между православными и католиками? «Вот, допустим, я отец, – кручинился Владимир Иванович. – И я убит. И теперь с небес смотрю, как мои любимые сыновья готовы уничтожить друг друга, мое семя, мое наследие, споря до войн, одним гвоздем были прибиты мои ноги к кресту или двумя...

Как не думают они о том, сколько горя отцу приносят, не взыскав между собой мира? ... Как не понимают, что не может убитый отец радеть о гвоздях, но о единстве между детьми...

Вот бы я сказал им с небес: считать всем, что гвоздей было три! Так что там о старообрядцах?» – Он перевел взгляд на старые страницы.

«...Они упустили, что и святые отцы, хотя и святые, но были люди, что эти святые люди жили в дальнее, с в о е время, что они понимали и объясняли только э т о время, что на вечные времена их учение не может быть полно, что, наконец, и святые отцы, как и все люди, будучи высоки и святы во многом важном, в ином могли и ошибаться или кое-чего не замечали, а то и не понимали. Часто не знали»....

Он тоже был просто человеком. Где-то там, в самом своем глубинном, о котором порой и догадки страшны, о котором и просил он только что Бога словами псалма, Владимир Иванович был с этими путанными изъяснениями согласен... Но он мучительно боялся хотя бы приостановиться на запретных размышлениях, поэтому погрузился в статью.

Строчки, подписанные безликим «Друг» побежали перед глазами... И священник Владимир Бережков отвлекся от тревоги, которой только что был наполнен.

Последние годы Бережковы жили на улице Грановского, пять минут, и ты у Кремля. Улица тихая, специальная. Покой окрестным жителям гарантировал представительный дом для государственных «шишек» средней руки и правительственная «кормушка», куда целыми днями подъезжали машины с охраной – явлением в ту пору редким. Внутри во дворах громоздились, жались друг к другу обычные дома с обветшалыми лестницами и многокомнатными коммуналками.

Квартира Бережковых чрезвычайно нелепа, в ней всего четыре комнаты, две небольших смежных, их занимали Владимир Иванович с Машей, и две огромных. В одной из них, тридцатиметровой, испокон века обретался тот самый Попсуйка, старый вояка неизвестного года рождения, чьи неснимаемые кожаные галифе когда-то растрескались, как виды выдавшая лакированная поверхность стола, да так и законсервировались.

Попсуйку звали то ли Петро, то ли Павло, но дед панибратского расклада не одобрял, всем приказывал обращаться к себе только по фамилии. Некоторые соседские гости по первости хихикали, им казалось, «дед Попсуйка» звучит нелепо, и народ искал созвучную замену смешному имени, чтобы неуместными смешками не попадать впросак. Благородный замысел многократно потерпел крах. «Поп», с которого начиналась любая замена, в квартире уже жил – настоящий, рукоположенный отец Владимир Бережков, а минуя слово «поп», прозвать соседа хоть как-то благовидно не удавалось. Так он и утвердился дедом Попсуйкой, когда о нем говорили в третьем лице, к чему все скоро привыкли, потому что случайных гостей в квартире, как правило, не появлялось. Обращались же к Попсуйке все жильцы квартиры исключительно «дед», прилагая к этому домашнему семейному прозвищу разнообразные окончания.

Дед Попсуйка, всем довольный и ненавязчивый, хранил сердечную верность своей ненаглядной Бронечке из Черновиц, которую родители в девятьсот четырнадцатом году насильно вывезли в Австрию, спасаясь от расправ над евреями. Вероятно, из-за Бронечки к евреям Попсуйка относился с особым трепетом, при случае непременно выказывая свое расположение. След Бронечки с тех пор затерялся, наверно и в живых ее давно уже не было, а Попсуйка все жил и жил, постоянно терял свои вещи, немного пованивал и ронял остатки белых волос в кастрюли и на кухонные столы.

Но он обладал удивительным даром, ради которого соседи прощали ему его чудачества.

Дед мог днями не выходить из своей комнаты, топоча там старческими, не отрывающимися от пола ногами и неразборчиво бубня, или затихая в бесконечных раскопках старых фотографий, пожелтевших бумаг и какой-то своей неведомой утвари, которая и составляла теперь его жизнь. Но существовало еще и некое тайное устройство, сохраняющее его связь с реальностью, и то ли устройство это было вживлено прямо в сердце старика, то ли в иной нематериальный орган, но срабатывало оно безотказно, поворачивая на реверс его привычную душевную зажиточность в одиночестве.

Стоило кому-то из соседей погрузиться в апатию или депрессию, произойди у кого-нибудь неприятный эксцесс, Попсуйка немедленно покидал свой мир воспоминаний и, шаркая ногами, приходил взыскивать помощи. Цепкими пальцами он хватался за локоть соседа или скребся в дверь и дотошно требовал отворить ему картошечки – «руки дрожат, дрожат, выпадает нож» – сходить в магазин, а порой даже помочь с уборкой, ссылаясь на давление и на то, что у него кружится голова.

– А то упаду, упаду да рассыплюсь. Как говорила моя Бронечка, «прямо щас и умер`у»! Мне же много теперь не надо, старому... А потом тебе, милоч, собирать на совок мои косточки...

Приходилось отвлекаться, помогать, а в это время благодарный дед оставался рядом и о чем-то ворковал тихо, периодически взывая к ответу на свои обращения. И помогающему чудесным образом становилось легче, плохое настроение отступало и уже не возвращалось.

Квартира берегла уютного деда, считая его своего рода талисманом и даже гарантом всеобщего спокойствия и благополучия, несмотря на то, что порой то один, то другой житель ли, гость ли оказывался не прочь укрыть от старика свой секрет. Тщетно, вездесущего деда было не провести, о себе самом же он не допускал никакого любопытства сверх того, о чем поведал давным-давно.

Пришедшая как-то в гости к Бережковым Нина Дмитриевна его спросила однажды, отчего, раз он украинец, фамилия у него не оканчивается на «о», ведь должен быть он «Попсуйко», как правильно...

– А кто сказал, что я с Украины? – шаркая ногами, бредущий по коридору дед развернулся и неожиданно остро свернул глазами. – Как я туда попал, в Украину, так оттуда и выпал, мож я с севера, а мож кубанский казак! – и дед, наверно забыв, куда поначалу шел, направился обратно к комнате, бормоча: – Откуда я родом, про то земля знает, больше никому из живых знать не след. А кто будет гадать, сы от а петрышкэ ди вэрт, так ведь, Броня моя? Как за пучок петрушки тому цена! Ишь, удумала, на «о» меня писать. Какая-такая на «о». Ишь!

Нина Дмитриевна себе самой вопрос о фамилии деда время от времени задавала, но все забывала спросить. И сейчас, встретив серьезный отпор, от неожиданности растерялась. Глядя в спину старику, она смущенно оправила платье.

– Простите, я не хотела вас задеть, право, это я так спросила, безо всякого умысла, – огорченно сказала она.

Дед оглянулся через плечо, прищурился подслеповато и развернулся снова, но лишь подался, обратно не пошел.

– А ничего, ничего, – зашелестел он, и Нине Дмитриевне показалось, что улыбнулся. – Я же, как ты всегда, как ты, так и ответил. Броня моя, она была ох как строга, да всякий раз приговаривала, шо «не так добре зугала, как добре мэйнала²». И ступай, голуба, ступай, куда шла, там уж тебя заждались, – тут Попсуйка закрыл за собой дверь, оставив обескураженную Нину Дмитриевну гадать, что хотел сказать дед, и почему не сделал как обычно, не перевел на русский язык загадочных Бронечкиных слов.

В тот день, когда Маша уснула на чердаке, поджидая открытия тайны зимней ночлежки ворон, Попсуйка свою комнату покинул за некоторое время до обнаружения Машиного исчезновения. Он отвлекал Владимира Ивановича, прося то отнести ему в комнату чайник, то ронял посуду, и тот собирал осколки, а целую поднимал, мыл, вытирал, возвращал, то со слезами в голосе сообщил, что встали его часы, без которых ему впору на помочах ходить. Тогда только принесшемуся взмыленному Павлу пришлось часы развинтить и починить, что, впрочем, оказалось несложно.

² «не так по-доброму говорила, как по-доброму думала» – украинский, идиш.

Пришедших внука и бабушку Смилга Попсуйка вместе с Владимиром Ивановичем встретил на лестнице и манерно раскланялся с пожилой дамой в мехах, всячески обозначая свое ею восхищение, а из этой встречи извлек для себя зримую пользу: позаимствовал фразу, которую женщина произнесла. Порой в морозные дни, когда Маша собиралась на улицу, Попсуйка, как отощавший сонный медведь, вылезал из своей комнаты-берлоги и зывал:

– Застегни мне пуговицы на рукавах, Марийка, пальцы-то, пальцы совсем не гнутся! – И пока Маша справлялась с пуговицами, умоляюще бубнил: – Вот так, вот так... Да ты и сама ради спокойствия старика кофточку-то, кофточку-то под пальтишко поддень? Как говорила одна прекрасная дама, и я ее-таки помню, опасно, что может случиться с ребенком у такому холод!

Вторую большую комнату занимала Лидия Александровна, старая дева, относившаяся с показной брезгливостью ко всему, что по законам природы обычно приходило девственности на смену.

Судьба Лидии Александровны оказалась нелюбезной и сделала свою владелицу мало-словной и необщительной. Легенда гласила, что когда-то давным-давно Лидия Александровна, тогда еще Лидочка, со своей сестрой Анечкой и уже очень немолодыми родителями въехали в квартиру на улице Грановского. Анечка на год старше Лидочки, но случилось так, что влюбились они в одного мальчика по имени Боря.

Боря красавец, так говорили все: высок, голубоглаз, черноволос, статен. А нехорошего в его судьбе всего одно, он сын дворничихи, поэтому приличной комнаты у них не было, вместе с матерью Боря ютился в подвальной каморке, впрочем, ни ему, ни сестрам этот факт настроения не портил. Дети часто вместе играли, в одно и то же время гуляли во дворе, пока не подросли, и не настал день, для Лидочки горестный: Боря сделал Анечке предложение.

К этому времени родители уже совсем одряхлели, а Боря молодой, крепкий. Родители дали свое согласие, прописали Борю к себе. После свадьбы огромную комнату разделили на две части. В одной блаженствовали молодожены, а во второй ютились пожилые супруги и несчастная Лидочка, которая поневоле потеряла сон, прислушиваясь к каждому шороху из-за дряхлой перегородки. А перегородка и правда одно название: буфет дверцами к родителям, шкаф дверцами к молодым, остальное занавеска.

Через год у Лидочки сильно испортился характер. Раньше любительница пошутить, теперь она казалась даже угрюмой, яркие кофточки свои подарила сестре, которая, впрочем, их носить не могла, потому что ждала первенца. Лидочка оставалась неразговорчивой, ухаживала за родителями, как вскоре Анечка родила дочку, красавицу, всю в отца.

В комнате Бережковых в ту пору жила древняя Василиса, отчества ее даже сам Попсуйка не знал, а называл Васёной. Васена была набожной, но не церковной. У нее в комнатах иконы хоть висели, но никто из соседей перед ними старуху не заставлял, а наоборот, все, не сговариваясь, считали, что Васена приколдовывает, хотя ничем этого подтвердить никто бы не сумел. И вот Васена-то как раз и «приговорила» маленькую Риммочку, едва только молодые родители внесли новорожденную в дом. Старуха посмотрела в лицо ребенку под доверчиво приоткрытым треугольником кружевного покрывала, покачала головой и беззубо прошамкала: «Слишком хороша девка. Не жилец».

На Васену цыкнули, называли сумасшедшей ведьмой, решили больше опасной старухе дитя не показывать. Анечка после родов слабая, родители совсем на ладан дышат, Лидочка и учится, и по уходу с ног сбивается. Взяли няньку, временно поселили с молодыми. Совсем тесно стало в комнате, уже и тридцать три метра не спасали от духоты. Тут некстати Анечка возьми да и понеси второй раз, а Риммочке едва ли три с небольшим месяца.

Тогда-то и произошло это ужасное несчастье.

Собрались как-то Анечка с нянькой купать девочку. Принесли корыто, поставили на табуретки. На стол положили малютку, Анечка в кухне замешкалась, нянька кипятка

в корыто вылила два ведра и пошла за холодной водой. На пару слов с хозяйкой задержалась, вернулась, девочка в корыте. Вся красная и лицом вниз.

Как распеленалась, так никто и не понял.

От этой истории случился инфаркт у старого отца. Лидочка матушку еле выходила, но та все равно долго не задержалась, ушла через несколько месяцев. Анечка не выкинула, доносила ребенка и родила в срок.

Но мальчик оказался больным, ограниченным.

Красавец Боря вскоре после того, как выяснилось, что сынок его плохо развивается, от жены ушел, да так ушел, что даже не выписался, просто однажды не вернулся. Лидочка с Анечкой остались коротать свое горе вдвоем. И вот подрастал Юрочка, ни в садик его не отдать, ни в школу. А сдать его в интернат мать с теткой пожалели, себе оставили. Теперь уже Анечка хлопотала по хозяйству, а Лидочка работала через дорогу в большом проектной институте начальником отдела кадров, куда ее после проверки определили за идейность и моральную устойчивость.

Юрочка же как-то очень быстро вырос – тощий, длиннорукий, весь в прыщах как в мелких глазах. Он любил гулять один, и его часто заставляли за занятием не совсем пристойным, но для такого нездорового человека прощательным: Юрочка кланчил деньги у прохожих. И делал он это по-особенному, подходил, в глаза заглядывал и произносил всегда одну и ту же фразу: «Одолжите, пожалуйста, двадцать копеек! Это не может вас затруднить, вы же интеллигентный человек!»

Денег Юрочке как правило давали, Анечка их дома отнимала и использовала на хозяйство, и так продолжалось какое-то время, пока Юрочка не стал лениться даже на любимые дела: разлюбил попрошайничать, на улицу выходить стал отказываться, потерял интерес к еде. Приглашенный врач резко пробрал Юрочкиных родственников, говорил, что у молодого человека серьезная болезнь, и лечить его следовало давным-давно.

И вроде мать с теткой схватились, по врачам пошли, но дойти не успели, как Юрочка, не дожив до двадцати двух лет, умер.

Это новое горе Анечка пережила не как раньше. Начала пить. Пила она плохое и помногу, а есть отказывалась, поэтому пережила сына всего-то лет на шесть. Злосчастная пророчица Васена года через четыре после смерти Юрочки тоже отдала Богу душу, и в ее комнатах поселились Бережковы, поэтому последние годы бедной Анны Александровны прошли у них на глазах.

Владимир Иванович, едва въехал и огляделся, взялся было влиять на пьющую соседку, но сначала не прямо, а через сестру. Доброжелательно и так, словно тут только и делали, что ждали его советов, начал увещевать Лидию Александровну и рассказывать от самого Ноя о том, какие могут случаться от пьянства горести и непотребства.

Лидия Александровна смолчала, пока новый сосед говорил, что вино подчиняет и лишает ума, а люди пьющие в любой момент могут повести себя неправильно. Но стоило священнику сказать, что и тот, кто смотрит на такое поведение, тоже грешен, потому что нет в этом никакой радости, и смотрящий поневоле впадает в грех уныния, а тот, как известно из притч Соломоновых, сушит кости, как слишком худая, чтобы называться изящной, Лидия Александровна вспыхнула от негодования.

Она решила положить конец непрошеному вторжению, уж ладно бы члена партии, а то какого-то попа! И сказала, как отрезала, что никакого такого бога они знать не знают, также и книг про него читать и выслушивать не намерены, и что следует новому жильцу ради его же блага свои порядки в квартире не наводить и в чужие дела не вмешиваться.

Владимир Иванович понял, что совершил непрощительную ошибку, напал на человека, едва увидав, и от расстройства чуть было и правда рукой не махнул: не храм, не звали, не прошен.

Но дед Попсуйка тут как тут, шуршит штанами, шелестит тапками:

– Уж ты, голубь, хоть и поп, а горяч больно, больно горяч. Ты ведь что ли знаешь только эти два слова: «хорошо» и «плохо»? А вот Бронечка моя покойная, вот бы кому в попы, вот бы кому цены не нашлось! Она, помню, про спешные дела так говоривала: «Нэ будь ци фил зис, щоб тэбэ нэ зылы, тай не будь ци фил бытэр, щоб тэбэ нэ выплюнулы». Понял ли, нет? Сладким не будь, а то съедят, и горьким не будь, а то выплюнут. Так ты помаленьку, помаленьку, Лидушу-то приручи, она вон сама как бесплотный дух, а ты ей про кости. Не спеши, Анюшка-то, когда без Лидушки, помолится, не сразу, но помолится... А Лидушку теперь уж рожном не возьмешь, только миром, только миром одним.

Владимир Иванович в вечерней молитве покался перед Богом, что свою молодую горячность так и не смог изжить, троекратно прочел пятидесятый псалом и начал общаться с Лидией Александровной уважительно, словно ничего плохого между ними не было.

Лидия Александровна немного пофыркала, но Попсуйку не могла игнорировать даже она, а он и тут не смолчал, и понемногу в квартире установился мир. А поскольку других близких людей у Лидии Александровны на свете не было, то, встречая о себе заботу, она заметно смягчилась и вела теперь даже некое подобие общественной жизни: принимала участие в квартирных праздниках и мероприятиях, которые отмечали обычно в комнатах Бережковых.

Самые маленькие и невместительные, эти комнаты выглядели ухоженными и приветливыми по сравнению с большой, но чрезвычайно захламленной берлогой деда Попсуйки и тем более отталкивающе холодной и до сих пор перегородженной обителью Лидии Александровны. После смерти сестры ее комната так и осталась со стоящими поперек шкафами и шторами, но в той ее части, где прежде жила Лидия Александровна с родителями, на стене висели теперь крупные портреты умерших.

Когда и как заказала Лидия Александровна эти светло-коричневые памятные фотографии, соседям осталось неизвестным. Поднять их, разместить по стене и прибить, даже это нелегкое дело, предполагали, что Лидия Александровна приглашала для этого специального человека из ЖЭКа, когда остальных дома не было. Потому что в прежние времена портреты не висели, а потом появились вдруг и закрыли собой стену левой от двери комнаты: родители – сначала отец, затем мать, Анна Александровна и такая же чуть ли метр в высоту фотография Риммочки.

Младенческое личико, растянутое до таких огромных размеров, приводило входящих в некоторую оторопь. Возможно, Лидия Александровна ожидала одобрения, приглашая поначалу соседей к себе в комнату под разными предлогами, однако ничего подобного не дождалась, а некий конфуз, который испытывали входящие, от нее не скрылся, поэтому после нескольких таких визитов она к себе соседей звать перестала и еще некоторое время ходила обиженной, а потом оттаяла. Тут надо еще сказать, что сама Лидия Александровна после смерти Анны Александровны переехала спать на супружескую кровать сестры в правый отсек комнаты.

И там же напротив кровати на стене она повесила еще одну большую фотографию, но теперь беглого Бориса.

Попсуйка про галерею усопших словом не обмолвился, если что, спокойно туда заходил, а заглянув одним глазом в правую часть жилища, даже рукой перед лицом отмахнул, словно стряхивая морок.

– Ступай, ступай, дед, – посоветовал он сам себе, что делал нечасто. И, качая головой, добавил. – Даром что Ли Бронечка говорила, учила тебя строптивного: «Колы нэ знаэш шо зугн, той краще фаршвайгн³».

³ «Если не знаешь, что сказать, то лучше молчи» – украинский, идиш.

День рождения деда Попсуйки приходился на католическое Рождество, и в эту субботу соседи собирались его отмечать. Старик никаких таких дат помнить не желал и всегда удивлялся, с неохотой покидая свое убежище, но квартира свято верила, что, отмечая дедов праздник, делает доброе дело. Обычно в гости приезжали и Прелаповы, они вносили разнообразие в привычный уклад, и в этот раз Владимир Иванович поджидал их тоже.

Маша, которая теперь вполне успешно справлялась с готовкой при помощи поваренной книги, сделала кое-какие заготовки к столу и ушла в магазин «Военторг» на проспекте Калинина за сливочными тянучками, без которых праздник не праздник.

Стол уже был накрыт, когда Прелаповы явились, Нина Дмитриевна принесла два своих фирменных пирога и банку соленых огурцов, Павел купил Попсуйке бинокль и ждал, понравится ли он старику. Лидия Александровна порадовала соседей полукопченой колбасой и консервированными болгарскими помидорами.

Стол получался изумительным, оставалось докупить конфет. Сливочные тянучки даже в «Военторге» продавались не всегда, и на этот раз их не оказалось тоже. Маша вышла из магазина, постояла немного и свернула направо. Ей захотелось пройтись по Калининскому проспекту, а потом переулками вернуться домой. Она практически всегда уступала своим желаниям, впрочем последнее время вспоминала и о делах.

Ей казалось, под кожей лба у нее тогда постукивал волшебный метроном: «Должна, должна...», заставляя возвращаться в реальную жизнь. Маша обзавелась этим невидимым прибором после истории с хомячками, но сначала он работал едва слышно. Потом оказалось, что для поступления в медучилище нужно сдавать экзамены. И Маша Бережкова, помимо любимой теперь биологии, принялась изучать химию и повторять русский язык. Она слышала стук метронома всякий раз, когда наступала пора заниматься.

– Машуня, давай поужинаем? – звал пришедший с работы отец, и дочь бежала к нему с поцелуями.

– Папочка, еще стучит! Значит, я не все выучила. Ты меня подождешь? Или тебе подать?

Владимир Иванович ни в коем случае не прервал бы занятий дочери, а о метрономе он знал, но всерьез не брал, принимая это за фантазии. И Маша еще некоторое время листала учебники, пока под кожей лба не воцарился покой.

Отец, соседи и Прелаповы уже собрались, Маша пошла в сторону Арбата, снова подумав о гостях, отметила, что молоточек под кожей лба признаков жизни не подает, чему удивилась. «Получается, я могу спокойно погулять!», – сделала вывод она и замедлила шаг, потому что там, где полагалось стучать метроному, что-то заныло и зазудело. «Нет, далеко не пойду, после „Дома Дружбы“ все же сверну», – Маша постучала кончиками пальцев по лбу, чтобы не чесаться, дошла до Арбатской площади и остановилась.

Обычно во время гулянья она просто бродила, особенно не прислушиваясь ни к городу, ни к собственным ощущениям – всего лишь смотрела по сторонам, как будто глазами дышала. Во время прогулок ничто постороннее ее не затрагивало, словно она находилась в некоей сфере, хранящей свое включение от посторонних звуков и вторжений. Сейчас нечто мешало ей, но источника тревоги не находилось, она стояла и озиралась по сторонам.

Лоб снова заломило, Маша повернула назад, поднялась вверх по переулку и свернула направо. Хотела было пройти по Калашному, но почувствовала ломоту вновь и направилась в Нижний Кисловский.

У одной из ближайших подворотен она снова остановилась.

Ей было не привыкать к внезапным переменам маршрута, выходя на прогулки, она до последнего времени не ведала, какой дорогой пройдет на этот раз. Она любила гулять в одиночестве, особенно летом, когда в изобилии вокруг порхали городские птицы и насекомые.

Но и в зимние времена природа радовала то лужицей, оттаявшей некстати, то раскатанным катком посреди тротуара, то осевшим на ветках деревьев снегом, а то выпрыгнувшей невесть откуда кошкой, несущейся во весь опор по промерзшему голому тротуару.

Этот день был ветреным и колючим, смеркалось, метроном не стучал, но гости наверняка уже ждали. Маша понимала, ее волнение связано не с домом, а чем-то другим, внешним.

Она свернула налево в подворотню и вошла во двор.

Даже небольшие московские дворы умели гасить шум города, каждый двор открывал себя подобно незнакомому миру, пусть еще вчера был исследован досконально. Маша проникла внутрь небольшого двора и прислушалась. «К газону», – почудилось ей, она послушно свернула и дальше двигалась медленно, оглядываясь по сторонам. За поворотом к некропному скверу внутри двора, рядом с его оградой и кирпичной стеной что-то происходило, и это «что-то» имело отношение к ней.

Маша застыла.

Трое мальчишек лет по десять-двенадцать явно занимались важным делом, никто не услышал шагов, не обернулся. Они что-то пытались приладить к забору, вставляли на цыпочки и препирались. Два из них, одетые в серое, явно подчинялись третьему парню в ярко-красной куртке. Ему они кивали, но пихали друг друга локтями за его спиной.

Глядя на их движения, Маша почувствовала, как у нее похолодела спина, но не сумела своего ощущения объяснить. Это так необычно и неприятно, что, перестав осторожничать, она пошла вперед быстрым шагом.

Мальчишки мастерили виселицу и у них никак не получалось прикрепить к ограде сквера ту ее часть, с которой спускалась веревка с уже готовой петлей. На земле у них под ногами лежал щенок со связанными лапами. Он не двигался, освободиться от пут не пытался, а только тяжело дышал, вздымая тощие, с просвечивающими ребрами бока.

Она не поверила своим глазам, решила, что все это ее дурная фантазия. Но тот, что в красном, сомнения развеял.

– Давай, просовывай его в петлю, – приказал он одному из своих спутников. – А ты держи виселицу, раз она не прикрепляется. Казним уже это чучело и дело с концом!

Самый маленький из парней поднял приговоренного, лапы его висели безжизненно, второй парень надел петлю от виселицы на ладонь и потянулся к голове щенка.

– Вы что делаете! – Маша задохнулась. – А ну. отдайте собачку! Ты, козлище, а ну, пошел вон! – Она пробежала пару шагов и остановилась напротив мальчишек – руки в стороны, варежки выпали и спланировали вниз. Двое попятись, озираясь. Младший парень выпустил щенка, он шлепнулся о землю, как куль. Но тот, что крупнее, в красном, не из робких. Повернулся к Маше, нежно-розовое с пухлыми губами его лицо искривилось в брезгливой гримасе. Он поднял согнутую в локте руку, а затем описал кистью полукруг вниз:

– Завязывай! – тон его был ленив. – Ты кто вообще, чтоб тебе отдать?

– Отними, если такая смелая! – подхватил второй.

– Пошла отсюда, цапля драная, а то получишь! – подпел третий.

Маша, тонкая даже в плотном пальто, выглядела младше своих семнадцати, но все же лет на пятнадцать тянула. Она осознала, что два коротышки не слишком опасны, а мальчишка в красном нагл настолько, насколько и жесток. Но что-то уже завихрило, заработало, она хотела бы схватить щенка и убежать, вместо этого подошла совсем близко и со словами «пришибу, поганец тошный», изо всех сил толкнула красного в плечо. Он упал, сел на зад, тут же вскочил и с размаху ударил Машу в грудь.

Началась драка с воплями, вскриками и обещаниями придушить, убить, и показать все, что приходило на ум.

Маша и парень в красном катались по земле, как попало лупили друг друга, и Маша с удивлением понимала, что продолжает думать.

Сначала ей показалось несправедливым, что парень дерется с ней, девушкой. Потом она прикинула, где несчастный щенок, чтобы паче чаяния его не раздавить. После этого ей пришла мысль, что два серых, которые пока стояли неподалеку и не ввязывались в драку, могут со щенком удрать или вступить за дружка, тогда она точно ничего не сможет сделать.

Маша изогнулась, широко раскрыла рот, изо всех сил обхватила зубами ухо красного и сжимала зубы до тех пор, пока не раздался вопль, а у нее во рту не разлился вкус крови.

Красный с ревом оторвался, чем сделал себе еще больнее, оба серых пока топтались на месте.

Маша вскочила, огляделась и, неудовлетворенная результатом, подобно разъяренной кошке, вцепилась ногтями в окровавленную физиономию маленького изверга и провела крепкими ногтями, сильно их вжимая, сверху до самого его подбородка.

– Вали отсюда, свинячий потрох! – Маша задыхалась, ее трясло. – Проваливай, скверна, хомяк безнадежный!

– А-а-а! – заорал красный, лицо его, перекошенное болью и испугом, сочилось кровавыми полосами. А Маша все налетала и налетала, норовя снова добраться до головы парня, она не могла остановиться, и мысли покинули ее.

– Дура! Гадина! – Держась за ухо, был покусанный, но вдруг остановился. Машины щеки полыхали, окрашенный кровью рот перекочился, скрюченные пальцы снова развернулись к его лицу. Она облизала губы, вкуса крови не ощутила, присела, подняла с земли осколок кирпича и неожиданно для себя прошипела:

– Не уйдешь, хана тебе, тварюка потная, ночной горшок! Считаю до трех! – И подняла руку. – Раз! Два!

На «три» мальчишки бежали.

Маша успела услышать, как красный обещал двум серым что-то пренеприятное. Она оглянулась, подскочила, схватила щенка, лежащего в неживой позе мордой вниз, в ужасе перевернула...

На нее смотрели глаза. Карие, спокойные, совсем человечесьи глаза. И никакой боли в них не было.

Маше показалось, она сходит с ума, дико заломило во лбу. Она присела на корточки, попыталась развязать веревки, но руки тряслись, а узлы и на передних и на задних лапах были затянуты туго. Она бы разрыдалась наверно, но в этот миг отчетливо услышала: «Дома развяжешь. Иди домой».

И Маша побежала домой, больше не раздумывая о том, что произошло.

Дома уже нервничали, и дед Попсуйка находил всем невообразимые занятия.

Павлу пришлось ввинчивать внезапно перегоревшую лампочку в коридоре, дед грозился упасть в темноте. Потолки высокие, лестница кособокая, ее из всех сил, прямо-таки вставляя в паркет, держала снизу крепкая Нина Дмитриевна и переживала вслух, что стремянка качается все равно.

Владимир Иванович чинил кран в ванной, который совершенно не к месту прорвало, вода хлестала, а дед Попсуйка, шаркая ногами и шелестя речью, приносил то прокладку, то плоскогубцы, то отвертку, постоянно путаясь и выбирая из ящика с инструментами не то.

В своих походах туда и обратно он не забывал Нину Дмитриевну, спрашивал, не больно ли рукам, предлагал помощь, отчего Прелаповы отнекивались, отмахивались, и один раз Павел действительно чуть не свалился с верхотуры, перепугав мать.

Дед Попсуйка, усмотрев такую картину, едва улыбнулся, но, к счастью, этого никто не заметил.

Лидия Александровна извинилась и ушла к себе, сказав, что у нее осталась недоделанная работа.

Маша не смогла найти в кармане ключи и позвонила в дверь. Испуг настиг ее и пошел по восходящей, пока она бежала по Нижнему и Большому Кисловским, а потом по улицам Герцена и Грановского, прижимая к груди свою добычу. Спасенный щенок оказался довольно тяжелым, он сползал на живот, Маша его перехватывала, пугалась, плакала, ее трясло. В дверь она звонила и звонила, да так, что открывать прибежали все, а Лидия Александровна даже опрокинула стул.

Вид Маши был настолько вымучен, что Владимир Иванович схватился за грудь, сердце стукнуло, остановилось, а потом понеслось, словно над ним свистала плетка. Павел забыл о своей душевной печали, в этот миг он снова стал мальчишкой, завязывающим шнурки на ногах маленькой подружки, он первым выскочил из квартиры и подхватил Машу сначала за локоть, а потом на руки, внес в дом. Нина Дмитриевна вскрикнула, дернулась к Владимиру Ивановичу, потом к Маше, а, увидев, что сын держит ее на руках, побежала к сумке за вали-долом. Лидия Александровна протиснулась вперед и тут же вынесла вердикт: «На девочку напали! Милиция!» и рванулась к телефону, но ее остановили.

– И правильно, и верно... Аз мы лост зэх трайтн, фартрэйт мын⁴... Дома Марийка, дома, вот и хорошо, вот и слава Богу, – зашелестел дед Попсуйка и заходил, заходил между всеми, поглаживая то одного, то другого, – и ничего не случилось, ничего не случилось, все ладно, все дуже добре⁵! И лампочка-то у нас горит, горит, и кран-то починили, починили, и девонька-то пришла, пришла наша девонька. А ты поставь, поставь ее, Паша, ножки-то у нее крепкие, верные. А слезы высохнут, высохнут. Ты, Володь, форточку-то, форточку открой, что-то мне душно, душно мне. А ты, Нин, не капнешь ли мне капли вот чего? И себе, и ему, чтоб поправиться. А ты что такое принесла с собой, Марийка, это у тебя что за чудо-юдо к животу приросло? Ох, отвоевала, отвоевала девонька добычу, показывай тогда, кто там у тебя, постоялец или сосед?

Под дедово шелестенье Нина Дмитриевна принесла капли Вотчала, всем накапала, подала, а тем временем соседи с гостями и правда рассмотрели, что перепачканная и окровавленная Маша крепко держит в руках непонятное живое существо – связанное, грязное и недвижимое.

– Кровь откуда? – выговорил наконец Владимир Иванович.

– Это не моя! Я этому мракобесному уху навсегда откусила! Они же его чуть не повесили! – Маша снова заплакала и еще крепче прижала к себе щенка.

– А девоньке валерианочки, валерианочки, Ниночка, давай, давай, – подтолкнул в кухню дед Попсуйка Нину Дмитриевну, и она безропотно принесла капли и лафитник с водой.

– Мы его задушим! Он кто? Он хоть живой? очнулся Павел и поставил Машу на пол, разжал ее руки, взял щенка. – Кошмар. Ножницы дайте. Выпей! – подтолкнул Машу к матери.

– А вот они ножницы, вот ножницы, – дед Попсуйка словно вынул их из кармана.

Нина Дмитриевна, Владимир Иванович причитали наперебой, Лидия Александровна тоже попросила капель. Маша валерианку выпила, но раздеваться и умыться, как посоветовала Нина Дмитриевна, не пошла.

Веревки на собачьих лапах с трудом разрезали, Маша снова щенка схватила и потащила в комнату на диван, уселась и задышала на глубокие следы веревок.

Лидия Александровна оставила свои попытки навести порядок. Ее уговоры положить щенка на подстилку и на пол – кто-нибудь, принесите хоть старое одеяло, на нем же грязь, животное может быть заразно! – не помогли, Маша, как ребенка, положила щенка в угол дивана, а на пол уселась сама, глядя благоговейно.

⁴ Если позволить себя топтать, затопчут – идиш.

⁵ Очень хорошо – украинский.

Щенок неподвижно лежал на боку, кожа да кости, лапа к лапе, длинная шея вытянута, голова немного задрана вверх. Он мог бы показаться мертвым, если бы не вздымающиеся бока. Пару минут на него смотрели, не зная, что предпринять.

Наконец Владимир Иванович очнулся:

– Так, – вынес вердикт он. – Надо что-то делать. Машуня, раздеваться, мыться! Где шапка? У тебя ничего не болит? Давайте-ка к столу. Пусть собачка придет в себя, а мы пока повечеряем, попразднуем праздник, а, деду? И щенку надо дать воды.

Лидия Александровна взялась просматривать программу телевидения, Нина Дмитриевна что-то переставила на столе, Павел полез за биноклем, а Владимир Иванович сам принес блюдо с водой и поставил перед мордой щенка, но тот не двинулся с места. Маша пальцем стала смачивать щенячий рот, вода стекала по ободранному подбородку, к тому же щенок не моргал, и только дыхание да пробегающая волнами дрожь говорили о том, что он жив. Владимир Иванович чуть ли не силой отправил Машу умыться, переодеться и опустил блюдо с водой на пол. Павел сходил в коридор, повесил на вешалку грязное Машино пальто, не нашел шапки, и все наконец уселись за стол.

Маша с грехом пополам поведала о своем ужасном приключении, Владимир Иванович – Господи, что происходит с человечеством! – преподнес деду Попсуйке шарф, Павел подарил бинокль, а Лидия Александровна напомнила, что колбаса из спецзаказа, и просто так ее не достать, а ей вот, хоть она и на пенсии, не отказали по старой памяти. Довольный дед рассматривал бинокль и рассказывал историю о своей старой двуглазке, потерянной давным-давно, в благословенные времена, когда он вместе с Петлюрой защищал от погрома еврейское местечко.

– Так ли уж с Петлюрой, а деду? – Владимир Иванович покачал головой. – А разве ж Петлюра не сам евреев громил?

– Холиле⁶! Нет, милоч, никак нет. А майсе из гевен азой⁷, – дед тоже закачался, сощурился. – Симона-то Петлюру завсегда «жидивским батьком» величали, и ты не слухай, где брешут, тут слухай, покуда я тебе живой, покуда не умеру! Петлюра, он был благородным батьком, а не какой-нибудь падалью, вот тебе мое слово...

Щенок все еще лежал без движения, на него поглядывали, а Маша вообще не сводила глаз. Наконец он шевельнулся, Маша схватила Павла за рукав: «Смотри, Паш-Паш, смотри!», и все повернули головы к дивану.

Как будто он крепко спал, хорошо выспался и наконец проснулся, щенок поднял вверх морду, затем снова опустил ее на диван, слегка потянулся и начал подниматься.

Он вставал по частям. Сначала поднял зад и стал похож на верблюда, затем максимально распрямил до невозможности кривые передние лапы, которые оказались короче задних иксообразных, и перестал быть похож на кого бы то ни было. Серый, в проплешинах и запекшихся корках, с кудластыми клочьями короткой шерсти на сторбленной спине, все еще стоя задом к публике, он снова потянулся, хвост, сплюснутый посередине, как будто его жевали, но не дожевали, оттопырился, а его кончик принял форму непристойного жеста.

Щенок зевнул и повернул к людям брылястую морду с близко поставленными некрупными желто-карими глазами.

– Страх Господень, – сам того не ведая, нарек имя новому члену семьи, медленно качая головой, Владимир Иванович.

– Страх – Го... – по складам прошептала Маша, остальные заворуженно промолчали.

⁶ Боже упаси! – идиш.

⁷ Дело было так – идиш.

Щенок прыгнул с дивана, шумно напился, враскачку прошествовал под стол и улегся на Машины ноги. Накрахмаленная скатерть зашуршала, все наклонились посмотреть на такое чудо, но щенок никого вниманием не удостоил.

Дед Попсуйка радовался как никогда, и даже наградил комплиментом Лидию Александровну, она отмахнулась с негодованием, но словно лет на десять помолодела.

Владимир Иванович хотел было напомнить, что собакам лучше в доме не жить, нехорошо это, да и щенок большой и по всему вырастет в крупного пса, но, в который раз взглянув на дочь, промолчал.

Машу от гордости распирало, она поглядывала под стол или задумчиво смотрела перед собой, а Павел привычно раскачивался, то видя в ней прежнего ребенка, а то по глубокому взгляду, которым она оглаживала щенка, опознавал женщину, просыпающуюся к материнству.

К окончанию вечера Павел неожиданно для себя устаканился.

Он пришел к выводу, что никакого неприличия в его мечтах о Маше больше нет: она взрослая, почти студентка медучилища, и вообще ей скоро восемнадцать. Что же касается циркового антракта, при воспоминании о котором он терял способность уважать себя, то что антракт? – думал Павел, – если именно тогда ему удалось понять, что для него Маша значит. Он взбодрился, это не укрылось от глаз Владимира Ивановича и помогло тому смириться с тем, что отныне вместе с ними будет жить пес.

И только Нина Дмитриевна недовольно вздыхала, мысленно погружалась в себя и праздником осталась неудовлетворена. В этот вечер на нее не обращал внимания никто, кроме деда Попсуйки, который извлек откуда-то старый жакет с разодранными петлями и без пуговиц, при этом так горестно сокрушался, мол, не может его застегнуть, что Нине Прелаповой пришлось успокоить старика, заштопать петли и пришить к жакету новые пуговицы немедленно.

Никто не сомневался, что маленькое страшилище останется в доме Бережковых навсегда. В субботу двадцать пятого декабря, в день рождения деда Попсуйки соседи и гости прощались друг с другом и с повышенной торжественностью наклонялись погладить собаку, которая дальше пяти сантиметров от Машиного тапка не отдалялась.

Поесть Страхо согласился только на следующий день, а к вечеру его всей квартирой помыли. Эту фамиллярность щенок перетерпел, но от мытья совершенно не изменился, разве что перестал отдавать неприятный налет рукам, которые его гладили. Впрочем, протянутых рук Страхо сторонился, его едва успевали коснуться, как он уходил. С Машей он не разлучался, и трудно было сказать, кто за кем неотвязно следует. В первую же ночь она, несмотря на протесты отца, попыталась взять щенка с собой в постель, но он не согласился на это сам, упрямо слезал с кровати на пол и укладывался рядом с Машиными тапками мордой к ее лицу, и это право себе отстоял. Если же Маши не было дома, щенок поворачивался в другую сторону и так лежал часами, не отводя взгляда от окна, как это делала в детстве его единственная хозяйка.

Отныне Машина жизнь исполнилась особого смысла. Прежде Владимир Иванович нередко завтракал и уходил на службу сам, пока дочь досматривала свои сны. Теперь по утрам она поднималась рано, – белая ночная рубашка в мелкий цветок, короткие, туго заплетенные косы с кудряшками на концах, а остальное – локти, колени, тонкая шея. Она кормила отца, перекусывала и уходила гулять с собакой, подолгу бродя старыми переулками и бульварами. Маша так добросовестно выгуливала Страхо, что если бы он сам не поворачивал домой через пару часов, так и продолжала бы бродить, думая, что только это ему полезно.

– Ты, девонька, купи мне калач, калач купи, да к обеду принеси деду старому, – просил дед Попсуйка. – Коза козой, слава те, пес – дзвиночок⁸, – качал он головой, закрывая дверь.

Маша не могла бы вспомнить с точностью событий тяжкого дня, когда она спасла своему любимцу жизнь, а о словах «дома развяжешь, иди домой», прозвучавших тогда в ее сознании,

⁸ Колокольчик – украинский.

и вовсе забыла. Порой ей казалось, что Страхго говорит с ней, но сначала это каждый раз было словно впервые. Делясь с Павлом или отцом своими открытиями, Маша объясняла всегда: «Его глаза мне сказали», не задумываясь ни о том, как это звучит, ни о том, было ли оно на самом деле.

А звучало оно вполне нормально, ни отец, ни, тем более, Павел ничего неправильного или настораживающего в откровениях Маши не усматривали. Говорящие глаза животных, не старо ли это, как мир? Тем более, глаза животных, которых любишь.

Добрая прихожанка храма, где служил Владимир Иванович, согласилась заниматься с Машей химией, а к биологии и русскому языку она готовилась сама, твердо решив в медицинское училище поступить. Дом она прибирала быстро, незатейливую еду готовила легко, а занятия не сложны, Маша с удовольствием копалась в биологии, анатомии, а к химии относилась с уважением, но старалась от нее побыстрее отделаться, все же этот предмет у нее не ладился. Свое свободное время она отдавала теперь собаке, включая выходные, по которым встречалась с Павлом. Если только их не приглашала к себе Нина Дмитриевна. Доехать до Прелаповых с псом было почти невозможно: они жили в Черемушках.

После обретения Страхго Павел стал звонить Маше чаще, назначал ей встречи, приезжал к Бережковым, и Владимир Иванович с надеждой смотрел на дочь. Но Маша, так трезво относящаяся теперь к домашним делам и будущей профессии, общаясь с Павлом, по-прежнему витала в облаках. Отец не находил ни следа влюбленности в дочери, не чувствовал ее и Павел, но оба не сговариваясь утешали себя тем, что вода точит камень, и что Маша попросту медленно взрослеет.

Дед Попсуйка каждый визит Павла отмечал по-своему, и это было особенно явно, когда Владимира Ивановича дома не оказывалось. Старик непременно мелькал в коридоре, когда Павел приходил, и не уставал шуршать шагами почти все время, пока тот оставался. Хоть и был он невидим, но Павлу не раз хотелось попросить, чтобы дед перестал путаться под ногами. За последний год старик сдал, даже ходил теперь, покачиваясь, но необъяснимым образом он продолжал наполнять собой пространство квартиры. Павел, навещая свою подружку, ни разу не ощутил себя с ней наедине.

Подсохший Попсуйка поскрипывал кожаными штанами, громко вздыхал, покашливал и что-то бубнил за еле прикрытой дверью, которую Маша никогда плотно не затворяла. Страхго водил глазами с двери на Павла и обратно, вращал ушами, как локаторами, и казалось, в самом деле излучал некую энергию, которой от Павла вовсе не стоило отражаться.

Были ли это Павловы фантазии или в самом деле и собака, и дед, да и вся обстановка квартиры существовали заодно, но каждый раз он понимал одно и то же: к Маше с чувствами подходить рано, она не ответит.

Всякий раз, едва подобные мысли приходили ему в голову, Павел вспоминал своих однокурсниц, умствующих особ, из-за которых он поначалу чуть не отказался от выбранной специальности. Учиться среди девочек, не произносящих ни слова в простоте и имеющих ответ на любой вопрос, это было еще каким испытанием. Только тем, что возвел девичий коллектив в такое почетное звание, Павел и сумел заставить себя учебу продолжить.

Он был единственным парнем в группе и чуть ли не одним из пятерых на потоке.

В тайне он считал, что именно они, эти пятеро, знают, как правильно ответить на те вопросы, о которых, закатывая глаза, щебечут однокурсницы. И вот теперь, опознавая в себе это «рано» то ли предчувствием, которое само по себе существовать не могло и требовало научных обоснований, то ли трусостью, в которой признаваться совсем не хотелось, Павел удручался и оставался недоволен собой. Тем не менее, к знакам, которые якобы подавали ему жители квартиры, он по свойственной ему способности смотреть одновременно в разные стороны, прислушивался, без Владимира Ивановича оставался с Машей недолго и уходил, тая от себя самого недостижимую цель своего визита.

Дед Попсуйка неизменно являлся его провожать и вещал каждый раз что-то утешительное и обнадеживающее, мол, «лето сейчас, а осень-то лучше, лучше, помягче все же», или «все до поры, до поры, даже мы, даже мы»... И похлопывал гостя по предплечью, до плеча дотянуться даже не пытаясь. Теперь он почти не поднимал головы, а шею держал вытянутой, как будто это поза необъяснимым образом добавляла ему необходимой устойчивости. В один из дней Павел от немоги деда расчувствовался и слегка старика приобнял. Тот качнулся, как будто был невесомым, эфемерным, чем-то уже не из плоти и крови, и едва не упал назад. Павлу пришлось подхватить деда, и неожиданно он почувствовал, как защемило у него в носу. Он поспешно ушел и дома поскорее засел за книги.

К счастью, работа в лаборатории времени для печали не оставляла.

Павел называл свою профессию «высокое пси» и продолжал гордиться тем, что причастен к избранной специальности. Возможности, которые обещала кафедра, гипнотизировали, и по будням он отдавал себя любимому делу без остатка. Но в глубине его души уже начался процесс брожения, соки разочарования поднимались медленно, все чаще напоминая о себе короткими уколами досады и ревности. Все еще не удавалось даже подступить к тому, что было действительно интересно, и что могло по-настоящему насытить. Как морально, так и материально.

Маша тем временем готовилась к вступительным экзаменам в училище, у нее тоже совсем не оставалось свободного времени. Несколько раз, завершив дневные дела и бродя по Кисловским переулкам, она заглядывала в тот двор, где трое мальчишек собирались казнить щенка. В тайне она надеялась встретить того самого, красного, и напугать его снова: Страхо как-то очень быстро вырос и превратился во внушительное и весьма несимпатичное для посторонних глаз животное, многие, завидев его, переходили на другую сторону, невзирая на поводок.

Красный не встречался, для самой себя Маша делала вид, что к несостоявшейся драме ее заходы в тот самый дворик отношения не имеют. Но однажды, когда она, проходя привычным маршрутом, свернула с проспекта Калинина, Страхо остановился и застыл.

Если пес встал, широко расставив ноги и склонив голову вниз, пытаться сдвинуть его с места бесполезно. Маша подошла к нему, села на корточки и снизу вверх заглянула в собачьи глаза.

«Тебе так сильно этого хочется? – прочитала она во взгляде Страхо и смутилась. – Похоже, ты так и будешь сюда ходить вместо того, чтобы гулять со мной по бульварам!» Она бы немедленно повернула к Суворовскому бульвару, тем более что вот он, подать рукой, но Страхо стоял как вкопанный.

– Ну, что ты? Что? – Маша сказала это вслух, не обращая внимания на прохожих. – Ну, стыдно мне за себя, не голова у меня, а кусок карельской березы, но я больше не буду! Пойдем?

«Пойдем», – ответили глаза, и Страхо свернул в переулки. Маша поднялась, двинулась следом и сразу занервничала. Она поняла: сегодня красного встретит.

Страхо некрасив и внушителен. Если бы ему вздумалось сменить свою вальяжную поступь на бег, Маша летела бы следом, как привязанная к кошачьему хвосту консервная банка. Но пес не любил спешить. Медленно он проследовал по правой стороне переулка и свернул в подворотню, не доходя до памятного двора на другой стороне.

Красный не изменился, даже не вырос. Прошло уже больше полугода, но Маша узнала его сразу. Он шел навстречу, изредка сплевывая через плечо, и весь его вид говорил о том, насколько он доволен собой. Когда между ними оставалось около пяти метров, Страхо дернул, и Маша от неожиданности выпустила поводок.

Собака присела на своих разнокровых лапах и почти ползком скользнула мимо парня.

Маша остановилась, красный в недоумении тоже. Он что-то почуял, но догадаться не просто, легкое летнее платье и распушенные по плечам волосы изменили облик Маши почти

до неузнаваемости. Парень сделал шаг вперед, но глаза девушки, смотрящие мимо него, расширились, и он обернулся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.